Г 120
1915

А. РЕЧИЦКИЙ

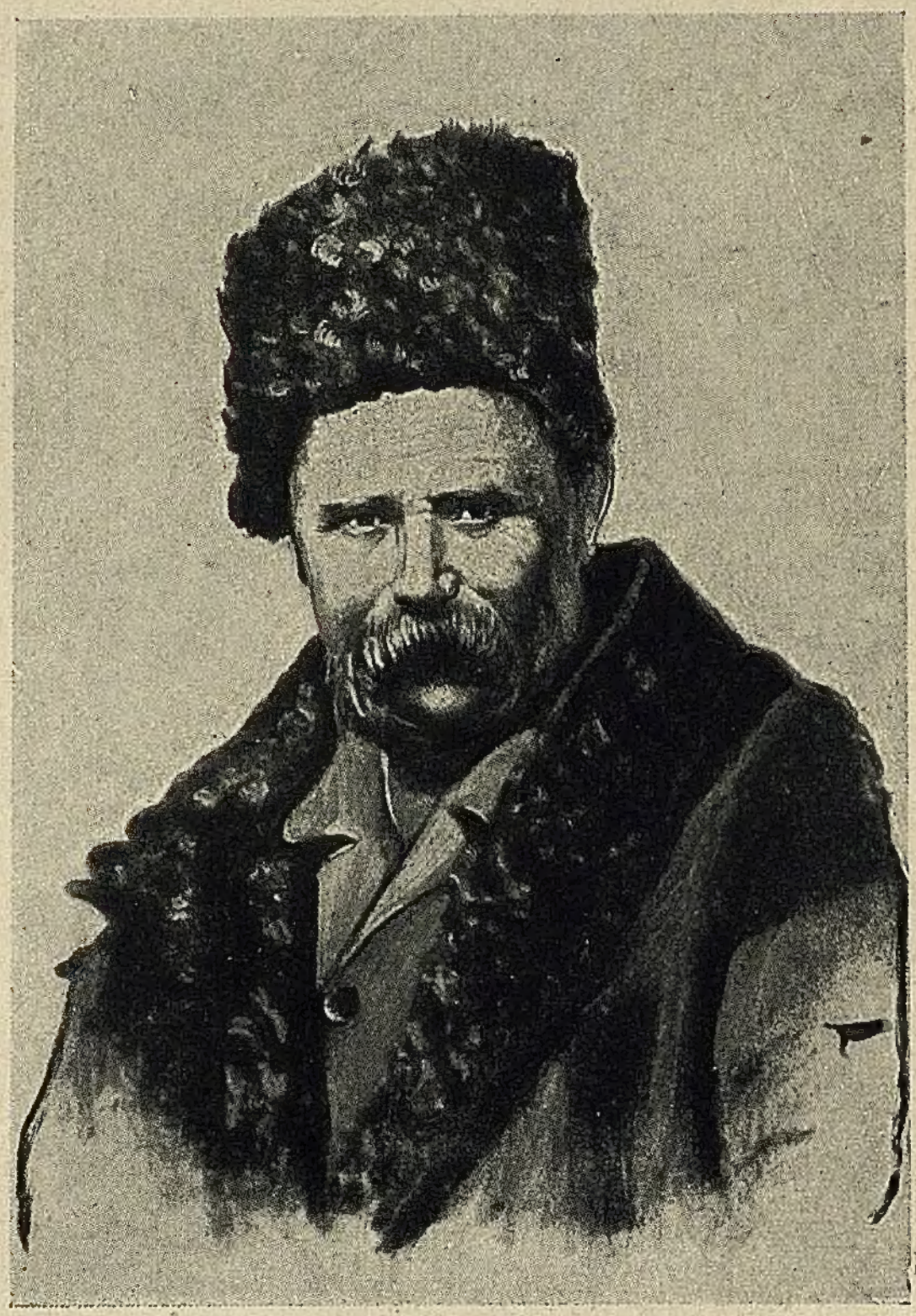
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В СВЕТЕ ЭПОХИ

1931

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗ-ВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

1-й экз. с 3 фонда

T24 4/53



ТАРАС ШЕВЧЕНКО

СЕРИЯ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А. РЕЧИЦКИЙ

Г120 / 1915

Т 24 1/53

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В СВЕТЕ ЭПОХИ

КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ★ 1931 ★ ЛЕНИНГРАД

Р—46

Ответственный редактор С. Кириллов
Технический редактор Г. Зайцев

★

ПЕРВАЯ
ТИПОГРАФИЯ ОГИЗА РСФСР
„ОБРАЗЦОВАЯ"
МОСКВА. ВАЛОВАЯ, 28.

★

Уполномоченный Главлита
№ Б-556. Х-22.
Огиз № 216. Заказ № 236.
Тираж 5 000 экз. 11 п. л.

Гос. Историч. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвент. № 419570
193 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемый вниманию русского читателя критический очерк о величайшем поэте-борце Украины, значение которого далеко выходит за ее пределы, написан в 1922 году и издан первым украинским изданием в Берлине (коммунистическое издательство „Космос“) в 1923 году, вторым изданием — в Харькове в 1925 году (Государственное издательство Украины).

Со стороны марксистской критики и украинской коммунистической печати Советской Украины, Западной Украины и Америки работа встретила полное одобрение, как первая обстоятельная попытка марксистского освещения творчества Тараса Григорьевича Шевченка. Иное отношение встретила настоящая книга со стороны так называемой академической критики, бывшей отражением взглядов старой украинской буржуазной общественности и обрушившейся на автора книги о Шевченке за якобы ненаучную работу, для которой нет другого названия, кроме как „новое недоразумение с Шевченком“.

В основе полемики, возникшей вокруг книги „Тарас Шевченко в свете эпохи“, лежало продолжение той классовой борьбы за Шевченка, в которой личность и творчество великого поэта-бунтаря превратились в знамя борьбы, причем угнетательские классы, использовывая это популярное в массах знамя, перекрашивали его в подходящий для себя цвет, извращая и опошляя творчество поэта с точки зрения своих классовых интересов.

В общем с творчеством Шевченка в истории украин-

ского национального движения произошло то, „что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным потоком лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать канонизировать их, предоставить известную славу их имени для „утешения“ угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его“[1]. Эти слова Ленина, относящиеся к „обработке“ Маркса, в такой же мере применимы и к „обработке“ революционного поэта-Кобзаря со стороны украинской буржуазии, создавшей культ „национального пророка“, обезвреженного от революционно-бунтарского содержания его творчества.

Попытки отмежевания от Шевченка со стороны украинских помещиков и буржуа в лице его современника Пантелеймона Кулиша, клеймившего поэта за его бунтарство, за его прославление гайдамацкой „черни“, за его борьбу против царей, панов и попов, в лице галицких клерикалов, приходивших в ужас от богохульства и кощунства поэзии Кобзаря, в лице русских помещиков, пугавших мещан сепаратизмом и „мазепинством“ Шевченка, — не могли иметь большого успеха в массах, любивших своего поэта и даже создававших революционные легенды вокруг его имени. Значение его не только в развитии украинской литературы, но и в истории общественного движения настолько велико, что обойти его творчество, оттолкнуться от него — означало отказаться и от влияния на крестьянские массы.

Поэтому господствующие классы, каждая их общественно-политическая группа стремятся приспособить поэ-

---

[1] Ленин, „Государство и революция“, Соч., т. XXI, стр. 371.

зию Шевченка к своим классовым задачам, вычеркивая из нее все, не соответствующее им, истолковывая в свою пользу все то, что поддается соответствующей „обработке“. Даже махровые черносотенцы типа Виталия Шульгина и Демченка, потомки тех, кто загнал автора „возмутительных стихотворений“ на десяток лет в закаспийскую каторгу николаевской солдатчины, — даже они пытались использовать Шевченка в своей погромно-антисемитской пропаганде [1]. Правда, это им не удалось. Но знаменателен самый факт таких попыток.

Целые поколения так называемых „сознательных украинцев“, носителей „национального освобождения“, создавали культ Шевченка, культ „национального пророка“, расписывали себе икону Кобзаря и поклонялись и молились ей. Когда же среди этого почитания мощей, а не живого, реального Тараса Григорьевича и его творчества, прозвучал голос критики, то и тогда нашелся довольно характерный для кликуш националистического культа ответ на эту критику: „Пускай себе Драгоманов говорит что угодно, а Шевченко-таки наш пророк, наш учитель, наш историк и образец украинского патриота“. Естественно, что украинское мещанство — и в украинофильских, и в хлопоманских поколениях, и в поколениях новейшей „демократии“ (буржуазной) — могло находить у Шевченка элемент для своей идеологии. Интересно, что при этом шло оно путем, оставленным для него царской цензурой, что признает даже нынешний идеолог украинской буржуазии, ныне осужденный по делу СВУ (Союза освобождения Украины) А. Никовский [2]. „Кобзарь“ Тараса Григорьевича, выхолощенный царской цензурой от всего его социально-революционного содержания, сделался евангелием для куцых, безобидных национально-освободительных стремлений хуторянской демократии, для которой особенно много потрудился нынешний вождь СВУ, акад. С. Ефремов. В его статьях о Шевченке поэзия клас-

[1] Демченко, „Оклеветание Шевченка некоторыми патриотами“.

[2] См. его предисловие к „Шевченко, українофіли й соціялізм“ Драгоманова, изд. „Криниця“, Киев, 1914, стр. VII.

совой ненависти и мести против угнетателей „обработана“ под идеологию „всепрощения“, примирения „между высшими классами и народом“, а из бунтаря-революционера препарирован „национальный поэт“, представитель „интересов родного народа“ и „любви к отечеству“.

Великая революция 1917–1920 годов разбила все старые представления в области общественных отношений, осветила все общественные и культурные явления светом нового мировоззрения нового класса — пролетариата. Из пыли архивов извлекла она настоящего, не искаженного „Кобзаря“, открыла хранившиеся под спудом цензурных и жандармских архивов богатства материалов и фактов, подняла завесу над общественно-культурным наследием прошлого, осветив его с точки зрения молодого класса, вождя общества, светом своего классового знания и марксистского учения, открыла нам настоящего Шевченка, всеми своими корнями глубоко сидящего в закрепощенной социальной среде своей эпохи и нашедшего свое историческое место в новом, советском обществе рабочих и крестьян.

Пролетарская революция уничтожила националистический культ „национального пророка“ Тараса и провозгласила вместо него научное шевченковедение в свете марксизма. Такую задачу поставил себе и автор настоящего труда, выпуская его в свет восемь лет тому назад.

С тех пор научное шевченковедение сделало значительный шаг вперед. Открыты и исследованы многие новые факты из жизни и деятельности Тараса Григорьевича, подвергнуты более углубленному изучению все стороны его творчества, более тщательно изучены его связи с революционными кружками его времени, в частности с кружком петрашевцев, фактами подтверждено влияние на Шевченка идей утопического социализма и коммунизма. Над проблемами шевченковедения работает в настоящее время целое научное учреждение — Институт Тараса Шевченка.

Однако новые научные данные и исследования не колеблют, а еще более подтверждают выводы, сделанные

автором настоящей работы восемь лет тому назад. Более того: некоторые выводы и догадки, полученные путем анализа общественных отношений эпохи Тараса Григорьевича и общественного содержания его творчества, получают новое фактическое основание и подтверждение.

Попытки буржуазного академизма вырвать поэта-борца из его социальной среды и представить его в духе „сильной личности“, „высокого духа“, представителя интеллигенции и даже богемы, стоящей вне классов, все более наглядно выявляют свою несостоятельность, и даже авторы этих попыток, выражавшие стремление модернизованной украинской буржуазии отстоять образ „интеллигентского“ нашего Кобзаря для своих реставраторских целей, принуждены признать социальную и революционную основу его творчества, близкую рабоче-крестьянским массам, чтущим своего поэта как борца за социальное и национальное освобождение батрацких и крепостных масс своей эпохи, являющихся предками нынешнего пролетариата и трудящегося крестьянства, строящих социализм в свободной Украине „без холопа и без пана“, как мечтал Тарас Григорьевич, призывавший „волю кровью окропить“.

В своей работе по изучению жизни и творчества Т. Г. Шевченка автор исходил из задач марксистской публицистики, поскольку она изучает явления литературного творчества, — задач, понимаемых им в том смысле, чтобы освещать эти явления путем изучения социально-экономической структуры общества и тех общественных процессов, на основе которых вырастают и философы, и политики, и поэты. Поэтому не сама по себе художественно-поэтическая форма может быть мерилом общественно-исторической и литературной ценности произведений того или другого поэта, — эта форма точно так же зависит от общественно-экономических и классовых отношений определенного времени или определенной эпохи, как и социальное содержание поэзии, из них черпаемое и ставящее определенные требования и к форме, дабы соответствующим образом выражать психические стремления людей и

людских групп, взятых в обстановке определенных экономических отношений в обществе.

Даже в воспевании красоты, природы, любви и т. д. социальная сущность такой „чистой“ поэзии отражается не менее, чем отражается эта сущность в поэзии гражданской. Ибо, к примеру взять, фабричный рабочий и крестьянин по-разному воспринимают и красоту, и природу, и любовь, так как психика их формируется под влиянием разных экономических условий.

Как изучение настоящей истории человечества возможно лишь с точки зрения материалистического ее понимания, так и понимание роли разных „великих“ людей точно так же вкладывается в рамки исторически-материалистического миропонимания и диалектического метода исследования, составляющих основу классовой идеологии пролетариата.

Подходя с таким пониманием к музе Шевченка, автор видит историческое значение ее не столько в том, что Тарас Шевченко — гений, художник слова, пророк, апостол, сколько — и преимущественно — в том, что этот гений стал таковым на фоне определенных общественных отношений, и в том, как он эти отношения отражает. Для пролетарской литературной критики важно установить роль и место Т. Г. Шевченка в общественно-историческом прогрессе и в зависимости от этого либо принять его, либо отвергнуть, либо взять из него все, что может послужить к развитию классового сознания пролетариата. Для этого прежде всего необходимо открыть живого поэта, показать его таким, каков он есть во всей совокупности общественно-исторических условий его места и времени, во всей его силе и красе, со всеми его заблуждениями и предрассудками, присущими его социальной среде и эпохе.

Этой задаче и посвящена настоящая книга, представляющая собой перевод со второго украинского издания с некоторыми сокращениями, изменениями и дополнениями, значительно отличающими настоящее издание от украинского.

Анд. Речицкий

I. УКРАИНА ПЕРЕД ЭПОХОЙ ШЕВЧЕНКА

Появление Шевченка совпадает с той эпохой в украинской истории, когда Украина окончательно завершила уже период колонизационных процессов, продолжавшихся со времени средних веков, и связанных с этими процессами общественно-политических движений, наивысшей точки кипения достигших в XVII столетии и затем постепенно спадавших вплоть до конца XVIII века. Бурная эпоха общественных волнений, широких массовых движений, восстаний, внутренних переворотов и внешних войн закончилась „успокоением“ Украины в лоне московского абсолютизма, охранителя интересов торгового капитала, превращением ее из казацкой державы в провинцию московского государства, подтянутую под общий дворянско-помещичий уклад общественных отношений императорской России.

Но сознание самых широких масс современников Шевченка еще заполнено отзвуками эпохи казацкой революции 1648–1654 годов и последующих казацких и гайдамацких движений, в их воспоминаниях живет эта казатчина, страницами своей борьбы наполняет она и народную словесность и поэзию Шевченка, отражаясь в них в соответствии с представлениями о ней тех общественных слоев, из которых черпает поэт свой социально-исторический материал.

Всякая революционная эпоха накладывает свою печать на все дальнейшее развитие и отражается на сознании поколений людей соответственно их социальному положению и интересам.

В эпоху так называемого национального возрождения Украины в XIX столетии, связанного с развитием в ней капитализма и с нарождением украинской национальной буржуазии, выступающей в роли носительницы идей национального освобождения от чужеземного гнета, времена казацкой революции, казацких войн и государственной жизни казацко-гетманской Украины представляются особенно привлекательными, порождая национально-казацкую романтику среди представителей этого национального возрождения. Но у представителей панства, с одной стороны, и у закрепощенного крестьянства, с другой, эта казацкая романтика имеет неодинаковый вид и питается разными социальными представлениями о сущности той „казацкой вольности", которую идеализируют и о которой мечтают.

А сущность казацкой революции, или хмельнитчины, заключалась в том, что это была революция торгового капитала против феодализма и польской шляхты. Главной организующей силой этой революции было казачество, представлявшее собой буржуазную земельную собственность против собственности феодальной, и торговый капитал, стесненнный рогатками феодальных поборов и привилегий. Близко к казачеству стояли украинское мещанство и средняя шляхта. Массовую движущую силу революции представляло крестьянство, хлопство, поднявшееся и поддерживавшее Богдана Хмельницкого во имя полного уничтожения панщины. Поскольку эти социальные элементы на Украине отличались от господствовавшей шляхты по национальности и религии, и революция приняла форму национально-религиозную.

Но казацкая старшина во главе с Хмельницким совсем не заинтересована была в полном уничтожении панщины и после первых побед над польскою шляхтою все усилия употребляла на примирение с ней и усиление, в противовес ей, власти польского короля, стремясь к абсолютизму. Разрыв с хлопством был неизбежным последствием такой позиции казацкой старшины, которая полученную в революции власть обратила против крестьян-

ства и стала силой контрреволюции, усмиряя крестьянские бунты и требуя, чтобы крестьяне „панам своим были послушны“, как и ранее им „послушенство отдавали“. Недаром народная поэзия в очень нелестных эпитетах вспоминает Богдана Хмельницкого.

Начавшись борьбой за освобождение украинского народа от „ляхской неволи“, хмельнитчина кончилась тем, что „можнейшие пописались в казаки, а подлейшие остались в мужиках“.

Таким образом, главнейшая социальная сила казацкой революции, давшая ей величайший размах и всенародный характер и силой своего восстания уничтожившая шляхетское землевладение, ничего не получила от революции. Крестьянство, хлопство остались при своих „звічних обов'язках“ (извечных обязанностях). И хотя непосредственным результатом восстания и героической борьбы казацких и крестьянских масс и было изгнание из Украины польской феодальной шляхты, хоть и стала земля „сполною“ (общею), но число участников этой „сполности“ ограничивалось лишь казачеством, а в казаки записано было лишь ограниченное реестром число, остальные же, воевавшие с шляхтой, должны были менять казацкую волю на хлопскую неволю. Таким образом в конечном итоге революция свелась к замене одной формы земельной собственности — феодальной — другою — помещичьей, основанной, как и первая, на крепостном труде.

Стремление казацких верхов к захвату пустующих земель польской шляхты и к превращению в помещиков определило и московскую ориентацию их, хотя старшине казацкой и не нравились стремления московского правительства „Малую Россию к рукам прибрать“. Московское государство, пережившее незадолго перед казацкой революцией свою „смуту“, превратившую московскую Русь из боярской в дворянскую, социально более близко было к казацким стремлениям, чем феодально-шляхетская Польша. Но казацкая революция в начальной стадии своей была и революцией крестьянской, одинаково опасной и для польско-шляхетской и для московско-дворянской „госу-

дарственности“ [1]. С этой стороны „войско запорожское“, подавляя бунты, показало себя образцовым усмирителем „черни“.

В лице московского царя казацкая старшина находит себе того абсолютного монарха, о котором давно мечтала и которого не нашла в лице польского короля, бессильного против шляхты. Царское правительство, умело использовывая внутренние классовые противоречия в казацкой Украине, постепенно ликвидировало ее государственную автономию и распространило на нее свой социальный строй — помещичье-крепостнический.

Когда нужно было ограничивать политическую автономию казацкой старшины, то царское правительство заигрывало с народными массами „поспольства“, объясняя, например, в указе Петра I, что „Малороссийская коллегия“ „учреждена“ „не для чего иного, токмо для того, дабы малороссийский народ ни от кого как неправедными судами, так и от старшины налогами утесняем не был“ [2]. В то же время старшина не была настолько сильна, чтобы собственными силами справляться с постоянно бунтовавшей „чернью“, и сама обращалась за помощью к Москве или Петербургу, откуда приходила военная сила для усмирения бунтов и спасения помещиков.

Все более и более ограничивая политическую автономию казацкой старшины, превратившейся в „малороссийское шляхетство“, русское правительство в то же время компенсировало ее в сфере экономических приобретений. „Желания к чинам, а особливо к жалованию“, по мнению царицы Екатерины II, должны были преодолеть „умоначертания прежних времен“, то есть автономизм и казацкие вольности старшины. Не следует, однако, думать, что украинское шляхетство так легко сдавало свои политические позиции. Свою гетманщину, свою автономию оно защищало, как умело, вплоть до заговоров и восстаний против царского правительства, путем союзов с ино-

---

[1] См. М. Покровский, „Русская история“, том II.
[2] М. Грушевский, „Очерк истории украинского народа“.

странными государствами стремилось оно освободиться от тяжелой руки русского самодержавия. Но наиболее стремилось оно к захвату земель и закрепощению не только посполитных селян, но и вольных казаков, что в конечном итоге и решило судьбу казацкой Украины — „успокоение“ ее в лоне Российской империи, при помощи которой только и могло украинское шляхетство закончить процесс создания крупной земельной собственности и закрепощения крестьян.

Весь этот процесс, продолжавшийся полтора столетия, происходил, конечно, за счет пота и крови крестьянства, расплачивавшегося и за подтягивание Украины под московский уровень и за компенсацию шляхетства „сельцами“ и „душами“ крепостных. „Между тем как здесь (Великороссия) речь шла о том, чтобы если не уничтожить, то по крайней мере ограничить крепостное право, в Малороссии, напротив, совершался обратный процесс: юридически свободные крестьяне, имевшие право перехода от одного землевладельца к другому, постепенно все более и более подвергались закрепощению“[1]. С развитием денежного хозяйства „малороссийские помещики бóльшую нужду имеют в мужиках и их работах, нежели в землях“ [2], — так писал один из дворянских депутатов Украины. В удовлетворении этой нужды с „чернью“ не церемонились. Насилие и грубый произвол новоиспеченного дворянства играли большую роль в создании крупного землевладения и в закрепощении крестьян. Конечно, русское правительство на деле очень мало беспокоилось, чтобы украинский народ „от старшины утесняем не был“. В этом его интересы целиком совпадали с интересами старшины.

Поэтому для украинского крестьянства замена польского господства на Украине русским не принесла ничего нового, кроме постепенного усиления над ним крепостного гнета после краткой свободы, завоеванной им в эпоху

---

[1] В. Семевский, „Крестьянский вопрос в России“, т. I, стр. 148.
[2] Там же.

хмельнитчины. Мужицкое сознание зафиксировало эту перемену в народной песне, в которой говорится: „была Польша, была Польша, а стала Россия“, а в результате — „плачут, плачут бедные люди, идя на панщину“. Русское правительство должно было обострять крепостной гнет на Украине, с одной стороны, с целью выветривания из голов украинского шляхетства политического автономизма, расширяя этим рынок для русского торгового капитала и прокладывая для него выход к Черному морю, а с другой стороны, необходимо было обеспечить и своих помещиков от бегства их крепостных крестьян от барщины в степи некогда более свободной страны.

Со времени перехода казацкой старшины под „высокую руку“ царя московского его политика сводилась к тому, чтобы, по свидетельству английского посла Ширлея, „уравнять положение украинцев с положением русских крестьян, что, как слышно, вызвало сильное недовольство, так что весьма многие из тамошних жителей принимали деятельное участие в восстании польских крестьян“, то есть в гайдамацком восстании Гонты и Железняка 1768 года на Правобережной (польской) Украине [1].

Крепостное ярмо все более глубоко врезывалось в крестьянскую шею. Гетман Разумовский „вверил управление страною той самой старшине, которая стремилась к окончательному порабощению народа и спешила захватывать села, еще оставшиеся свободными; он стал раздавать в Малороссии имения „в вечное потомственное владение“ [2]. Уже в 1765 году в свободных местечках и селах осталось лишь 1717 дворов. В 1783 году свободный переход крестьян от помещика к помещику был совершенно запрещен. К этому же времени была закончена и ликвидация политической автономии казацкой старшины. Окончательный удар ей нанесен был разрушением Запорожской Сечи в 1775 году. Параллельность этих двух процессов довольно характерна.

---

[1] В. Семевский, „Крестьянский вопрос в России“, т. I, стр. 153.
[2] Там же.

Итак, „казацкая Украина Хмельницкого за сто лет успела превратиться в такую же дворянскую страну, какой было московское государство XVII века“ [1]. На нивелированной революцией почве „можнейшие“ из казачества и мещанства превращаются в помещиков-дворян, а „подлейшие“ из казачества и крестьянства попадают в ярмо крепостной неволи. Закрепощение рядового казачества отражается и в народной поэзии, — во многих песнях оплакивается это насильственное превращение вольных казаков в крепостных крестьян.

Обычно национально-романтические представления о прошлом Украины изображают дело так, что украинская старшина (иногда она фигурирует даже под псевдонимом „интеллигенции“) изменила своему „народу“, национально ассимилировавшись с Россией; остался-де „темный народ“, лишенный „образованного“ руководства, который не мог жить исторической жизнью, и национальное бытие его замерло на долгое время. Но вот с начала XIX века появляются писатели, представители новой интеллигенции, и начинают писать на „родном“ для народа языке. Отсюда начинается „национальное возрождение“ украинского народа, снова создавшего „свою“ национальную интеллигенцию.

Из предыдущего мы уже видели, сколь наивны такие представления. Если под „народом“ разуметь крестьянство, хлопство, то украинская шляхта и старшина казацкая не могли изменять ему по той простой причине, что никогда они и не защищали его интересов, а боролись лишь за то, чтобы покрепче сесть ему на шею. Если же исходить из языка (родного, украинского), от которого якобы отреклось шляхетство, то и в этом не находим такой „измены“, ибо шляхетство, как и все средневековое образованное общество, в официальных отношениях и в литературе пользовалось не языком народных масс крестьянства, казачества и мещанства, а таким „язычием“, созданным церковно-славянщиною и схо-

---

[1] М. Покровский, „Русская история“, т. II, стр. 245.

ластической культурой, которое вообще ничего общего не имело с каким бы то ни было живым языком. Поэтому и переход украинских помещиков на официально-русский язык диктовался им удобством в смысле удовлетворения своих желаний „к чинам, а особливо к жалованию“, к царским грамотам на села и души, хотя язык этот не был более близок к языку Тургенева, чем „рутенское язычие“ к языку Шевченка. Необходимо все же отметить, что многие помещичьи земли Украины в домашнем быту сохраняли народный украинский язык. Ведь из них вышли и первые представители „национального возрождения“ и новой украинской литературы уже на живом народном языке.

Культурная ассимиляция украинской шляхты и старшины казацкой с официальным русским обществом была неизбежным последствием экономической ассимиляции ее с русским дворянством и ликвидации ее политической автономии. Эта экономическая ассимиляция происходила не без сопротивления и борьбы со стороны казацкой старшины и шляхты, и исход этой борьбы никак нельзя объяснить лишь желаниями шляхты или же ее „изменою“.

Все более и более теряя свои политические позиции и потеряв все остатки своей прежней „славы“, шляхта и казацкая старшина с неменьшей любовью оглядывались на свое прошлое, с его блеском политического господарства гетманщины, не менее тужили о своей прежней „вольности“, чем и их эпигоны, ставшие пионерами литературного и национального „возрождения“ Украины в XIX веке. Вся национально-казацкая романтика этого возрождения в значительной степени питалась настроениями шляхетства. Собственно, и начало литературного возрождения было не чем иным, как продолжением борьбы шляхетства против последовательно проводимого стремления русского правительства „Малую Россию к рукам прибрать“. Правда, в этой борьбе перешло оно на новые позиции, к которым подвели украинского помещика экономическое развитие и крупные перемены в хозяйственных отношениях, требовавшие изменения и общественного строя.

Это признает и акад. М. Грушевский. Он пишет, что, „несмотря на обрусение высших классов Украины, у них оставался известный областной патриотизм, скорбь по гетманщине, романтические воспоминания о былой славе казачества. Легкость, с которой теряли они свой национальный облик, не исключала известной национальной гордости, а отчуждение от народа не мешало им с симпатией относиться к особенностям, хотя бы внешним, украинского быта, к украинской народной словесности и ее языку“ [1].

Экономическое развитие XIX столетия неуклонно шло к тому, что архаическое помещичье хозяйство с крепостным непроизводительным трудом становилось тормозом хозяйственного прогресса. Нарождение капиталистических отношений внутри помещичье-крепостного общества, рост денежного хозяйства, развитие внешнего и внутреннего рынка, рост цен на хлеб, выход украинской пшеницы на заграничные рынки — все это требовало перехода на новые формы эксплоатации труда, требовало замены непроизводительного труда крепостного трудом вольнонаемного рабочего. Капитализация помещичьего хозяйства превращала помещика-крепостника в помещика-либерала. Вместе с развитием торговли и промышленности — тоже главным образом в поместьи (сахарные и винокуренные заводы) — происходит образование украинской буржуазии, тесно связанной с либеральным помещиком, выступающим в роли выразителя культурных стремлений нарождающейся буржуазной эпохи. Вот эта-то передовая, либеральная часть помещиков, нуждающаяся в вольнонаемном производительном труде, вдруг начинает открывать человеческую душу в крепостном хлопе, раскапывает и находит в нем целые сокровища „народной души“, „народной поэзии“, „народной мудрости“. Вот тогда-то, как идеализирует это явление М. Грушевский, „народность становится боевым кликом культурного движения, предметом восторженного культа“, то есть в основе

---

[1] М. Грушевский, „Очерк истории украинского народа“.

национально-литературного возрождения XIX века лежит помещичий либерализм, прокладывавший пути для будущей национал-буржуазной демократии.

Вот тогда-то помещики-„народолюбцы“ „пошатались возле шинка (трактира), да и думают, что вот когда уже мы разузнали своих мужиков, как издевался над ними настоящий мужик Тарас Шевченко“ [1].

Таким образом, вся дошевченковская украинская литература лишь отражала этот либерально-капиталистический сдвиг среди помещиков. Это утверждение, конечно, совсем не отрицает ее крупной прогрессивной роли в развитии общественной мысли, но извечную „демократичность“ и „народность“ украинской литературы в интерпретации ее со стороны народнической критики необходимо поставить на надлежащее место.

Наиболее ярко выраженную народническую канонизацию всей украинской литературы как сплошь демократической находим у акад. С. Ефремова, который писал о ней: „Развившись тем не менее усилиями снизу, трудом деятелей, или непосредственно выходивших из народа, или же сохранявших с ним самые прочные и непрерываемые связи, она служила выражением нужд и интересов демократических слоев народа“ [2].

А на самом деле вся дошевченковская украинская литература есть литература помещичья, в той или иной мере либеральствующая, в той или иной мере украинофильствующая.

Ведь целая плеяда литературных предшественников Шевченка и его современников состояла или из людей, связанных с помещичьей средой, или же просто из помещиков. Котляревский, Квитка-Основьяненко, Гребенка, Стороженко, Гулак-Артемовский, Кулиш — все эти славные пионеры новой украинской литературы являлись лишь литературными выразителями идеологии украинофильствующих и либеральствующих помещиков и зачатков

[1] Предисловие Шевченка ко второму изданию „Кобзаря“.

[2] С. Ефремов, „Украинская литература“. Энциклопед. словарь Граната, т. 42.

новой украинской буржуазии, еще не отделившейся от помещика. Больше того: будучи людьми „реальными“ относительно политических возможностей, они ограничивали свое украинофильство и народолюбие сферой чистого этнографизма, оставаясь одновременно верноподданными патриотами царской России. „Как бог милосердный посылает нам и жизнь, и свет, и хлеб насущный, так и царь наш милосердный“, — писал к своим землякам Квитка-Основьяненко; таково политическое credo этой „генерации“ творцов украинской литературы и идеологии.

Такую литературную и идеологическую почву национально-исторического романтизма и реалистического сервилизма, помазанного народолюбием либерального пана, имел перед собою Шевченко.

Но Шевченко вырос из совершенно другой социальной почвы. Он рожден закрепощенным, угнетенным и эксплоатируемым крестьянством.

Это крестьянство-хлопство в казацкой революции искало освобождения от польской панщины не для того, чтобы заменить ее другой панщиной. Свой общественный идеал оно видело в казацких вольностях, и неудивительно, что масса посполитых крестьян стремилась перейти в казачье сословие, то есть в положение вольного хлебороба. Но верхи казачества — „люди рыцарские“ — не собирались перевести в свое сословие все крестьянство, они лишь использовывали „чернь“ и ею расплачивались и за победы и за поражения. Казачество рассматривало себя как привилегированное сословие и не хотело увеличивать особенно своего реестра за счет хлопов, которых оно же усмиряло и принуждало возвращаться на панщину. Недаром в народных песнях для Богдана Хмельницкого нет иного пожелания кроме того, чтоб его первая пуля не минула.

Хмельнитчина не только не уничтожила панщину для крестьян, а наоборот, после нее, как уже отмечено выше, панщина постепенно усиливалась и в XIX столетии достигла наивысшей степени угнетения. Вполне естественно, что причиной закрепощения крестьянство считало старшину и шляхту, вообще панов-помещиков. Их насиль-

ственные способы захвата земель и закрепощения крестьян и рядовых казаков в условиях политики царского правительства, которое иногда заигрывало с хлопством и боролось за ограничение политической власти старшины, создавали у крестьян представление, будто царь стоит за мужиков, но паны ему мешают.

Современем крепостное рабство усиливалось все более и более. И чем более казацкие времена отходили в прошлое, тем более привлекательными становились они в представлениях крестьянства. Ведь как-никак, а движущей силой хмельнитчины, придавшей казацкому восстанию размах всенародной революции, было крестьянство, сметавшее панщину и уничтожавшее шляхетское господство. Поднимаясь вместе с казачеством на войну с польской шляхтой, крестьянство само стремилось перейти в казацкое состояние, и уже хотя бы потому, что казацкая власть не всегда в состоянии была справиться с движениями хлопства, а иногда и принуждена была на него опираться, ища в нем себе массовой опоры, оно все же отстаивало свои интересы и права. Беспрерывное усиление крепостного права в XVIII и XIX веках и ухудшение положения крестьянства вполне естественно обращали его взгляды на прошлое. Характерно, что и все последующие попытки крестьянства к освобождению из-под крепостного гнета шли или под руководством казачества, как гайдамацкое восстание, или же — в позднейшее время — под лозунгами восстановления казачества и перехода в казацкое состояние крестьянских масс, боровшихся за „землю и волю“. И во время войны 1812 года, когда царское правительство формировало на Украине ополчение против Наполеона в виде казацких полков, и даже во время Севастопольской войны крестьянство воспринимало это формирование как лозунг перехода крепостных крестьян в свободные казаки и борьбы против помещиков за „землю и волю“, чем доставляло много хлопот царскому правительству.

Если украинское шляхетство могло идеализировать гетманщину и казатчину как свою утраченную политичес-

кую власть над страной, то крестьянство, страдая социально, оглядывалось на казатчину как на свой социальный идеал, тем более что масса рядового казачества тоже попадала в ярмо крепостного права и тем связывалась с крестьянством, влияя на его сознание; казачество наиболее остро чувствовало потерю своей независимости и гнет крепостного права.

Таким образом и в крестьянстве складывались благоприятные условия для казацкой романтики. Богатая народная поэзия, воспевая борьбу казачества против панства за волю, против „ляхской" (польской) и турецкой неволи, наилучшим образом отражает эти настроения. Правда, эта поэзия по преимуществу имеет классово-казацкий характер, но в силу закрепощения широких низов казачества она таким путем расширяет свою социальную базу на весь угнетенный народ. Тяжелое, безотрадное положение, на улучшение которого не было никаких надежд, обращало крепостное крестьянство к воспоминаниям о прошлой борьбе за волю.

Многочисленные кобзари, народные певцы и своеобразные агитаторы, ходят по селам и воспевают историческое прошлое в идеализированной форме, в которой казачество выступает как защитник народных прав и свободы, как мститель панству за народную кривду. В народных думах и песнях казацкие слава и воля оказываются затоптанными серыми волами, связанными в темном лугу на возу, брошенными к пану в темницу. Народная поэзия с печалью констатирует низведение некогда свободного рыцарства — казацкого воинства — на положение закрепощенного хлеборобского хлопства. Поэтическая идеализация казатчины ярко выражена в одной песне [1] таким сравнением настоящего с прошлым:

Батькам було добре На Вкраїні жити, А синам досталось Панщину робити.	Отцам хорошо было на Украине жить, а сыновьям пришлось отбывать панщину.

[1] М. Драгоманов, „Нові українські пісні про громадські справи".

Развитие этой панщины ко времени появления Тараса Григорьевича достигает высшей точки гнета, в то же время она становится все более и более оковами развивающегося уж в недрах крепостнического хозяйства нового — капиталистического — способа производства. Вся система хозяйства, основанного на подневольном труде, оказывается гниющей, помещичий класс все более паразитирует на спинах крепостных рабов, усиливая жестокий гнет и эксплоатацию их.

К 1840—1850 годам прошлого века относится свидетельство историка, что „крепостное право в Малороссии только что достигло полного сознания своих сил и проявляется с торжествующей самоуверенностью... Там господствует самое ужасное сочетание бесчувственности и беспорядочности в помещичьем хозяйстве: требования помещиков непомерны... истязания развратили народ“ [1]. Конечно, для более дальновидного, чем обыкновенные помещики, дворянского историка очень неприятно, что его коллеги по классу „развратили народ“, ибо от этого они сами могли пострадать. В самом деле, доведенное до отчаяния панщиной, обдирательством и истязаниями крестьянство вспыхивало бунтами-восстаниями против своих угнетателей. Необходимо отметить, что в значительной степени и помещичий либерализм с его „народолюбием“, и разные проекты освобождения крестьян, исходившие из помещичьих кругов, проекты освобождения лишь после просвещения крестьян помещичьими школами (Кулиш), и желание примириться с этим „обиженным меньшим братом“ — были результатом страха перед освобождением крестьян снизу, то есть перед революцией.

Из такого закрепощенного, угнетенного и бунтующего крестьянства, с такими мечтами и воспоминаниями о казацкой воле, вышел и Тарас Шевченко, отразивший в своей поэтической деятельности вместе с бунтарством и стремлениями угнетенного класса и его национальную романтику, его идеализацию украинской истории, тем более

---

[1] Самарин. См. у Семевского, „Крест. вопрос в России“, т. II.

что и литературная почва для такой романтики была уже подготовлена предшествующим поэту литературным возрождением.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАРАСА

Мало сказать, что Тарас Григорьевич происходил из крепостной мужицкой семьи. Этим его социальное происхождение не исчерпывается. Ведь и разные бурмистры, панские приказчики, есаулы, лановые, старосты тоже в большинстве случаев были крепостные, но они же по приказу господскому сдирали шкуры со своего брата крепостного. Дело в том, что и крепостное село не было однородным. В нем мы видим и довольно зажиточные крестьянские верхи, для которых и панщина не так уж была страшна, как для бедняков, ибо и отношения к пану они могли установить на денежных расчетах оброка, или же выкупиться на волю и арендовать землю у того же помещика. К таким крепостным верхам принадлежал и родственник Тараса, Варфоломей Шевченко, в конце концов выкупившийся на волю и ставший панским управляющим. Но не из этих верхов крестьянских вышел Тарас, и мы у него не видим и особенной благосклонности к Варфоломею.

Родина Тараса — самые глубокие крепостные низы, беспросветная нужда и тяжкий труд. Беднейшая крестьянская семья с пятью душами детей, смерть матери, когда Тарасу шел всего девятый год, женитьба отца на вдове, также имевшей троих детей, злая мачеха и смерть отца — таковы суровые факты наинежнейшего детства Тараса. А далее идет тяжелая жизнь по найму: „учение“ то у одного, то у другого дьяка, с тяжелым трудом на пьяниц, с получаемыми от них побоями; затем Тарас пасет общественных овец, а еще позднее его отдают батраком к попу, для которого он, конечно, „лодырь“; все это время мальчик ищет, кто бы его мог научить искусству рисования, к которому чувствует влечение и способность. Наконец шестнадцатилетний Тарас — домашний казачок у своего пана

Энгельгардта, у которого его секут розгами за рисование ночью; затем он — слуга у маляра Ширяева, которому „в аренду“ отдает его помещик. Такие социальные факты формируют психику будущего поэта, и такие факты не забываются...

Затем усилиями поэта В. А. Жуковского и художника К. Брюллова Шевченка выкупают у помещика. Быстро пролетели годы свободы. Академия художеств. Шевченко — художник, академик и поэт. Расправились крылья — и снова неволя, каторга николаевской солдатчины, ссылка в закаспийскую пустыню с запрещением писать и рисовать — за революционную деятельность (участие в Кирилло-мефодиевском братстве), но главным образом — за написание „возмутительных стихотворений“ против царского и панского гнета. Десять лет ссылки и солдатчины уродуют жизнь поэта без надежды на лучшее будущее.

Сирота, батрак и невольник — таков Шевченко в жизни; неудивительно, что таким он выступает и в своей поэзии. Как воспринимает он свою социальную обстановку? Так, как только и может воспринимать ее сирота, батрак и невольник: сквозь слезы, тяжелый труд, нужду и неволю. Он так ее воспевает:

Як би ви знали, паничі,
Де люди плачуть, живучи,
То ви-б елегій не творили,
Та марне бога не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм:
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи есть у бога люте зло,
Щоб у тій хаті не жило?
А хату раєм називають.
Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села:
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала

Если бы вы знали, барчуки, где люди живут в плаче, то вы бы элегий не создавали, да напрасно бы бога не хвалили, смеясь на наши слезы. За что — не знаю, называют хату в роще тихим раем: я в хате мучился когда-то, мои там слезы пролились, первые слезы. Я не знаю, есть ли у бога лютое зло, которое не жило бы в той хате? А хату раем называют!

Не называю ее раем, той хатки в роще над чистым прудом в конце села. Меня там пеленала мать и, пеленая, пела, свою тоску переливала в свое дитя; в той роще, в той хате, в раю, я в и-

В свою дитину; в тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя;
Робота тяжкая, — ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою,
Ще молодую, — у могилу
Нужда та праця положила;
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині... а ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи
Носити воду школярам,
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили,
А сестри... Сестри? Горе вам,
Мої голубки молодії!
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли, чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете.
Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села.

дел ад... Там неволя, работа тяжкая, — никогда и помолиться не дают. Там мою добрую мать, еще молодую, нужда и труд положили в могилу; там отец, плача с детьми (а мы были малые и голые), не вытерпел злой судьбы, умер на панщине... а мы расползлись между людьми, как мышата. Я — в школу носить воду ученикам, братья на панщину ходили, пока в солдаты их не забрали, а сестры... Сестры? Горе вам, мои голубки молодые! Для кого на свете вы живете? Вы в найме выросли, чужие, в найме косы поседеют, в найме, сестры, и умрете.

Мне страшно даже, когда вспомню эту хату в конце села [1].

Так может писать лишь поэт, сам являющийся детищем этого батрацко-крепостного ада. И если сравнить с ним другого мужицкого поэта — Кольцова, то у последнего мы видим одни только элегии: „Весело я лажу борону и соху“, „Крестьянская пирушка“, „Урожай“; поэт-прасол, сам не знавший нужды, работы по найму и тяжелого труда, и в крестьянской жизни видит одну лишь поэзию труда и благосостояния, воспринимая ее сквозь призму кулацкой идеологии, смотрящей на бедность и нужду глазами зажиточного крестьянина, считающего ее следствием лени (например — „Что ты спишь, мужичок?“).

В приведенном стихотворении Шевченко — настоящий мужик и бедняк — дает резкую отповедь тем господам и барчукам, которые на заре либерализма, открыв человека в крепостном, бросились обниматься с ним (правда, на-

[1] Разрядка моя. — *А. Р.*

столько осторожно, чтобы не запачкаться об него), восхищаться сельским раем, создавать элегии о хате в роще в конце села... да потихоньку драть шкуру „з братів незрячих, гречкосіїв“ (с слепых братьев-сеятелей)...

Мало таких людей, как Шевченко, могло вырваться из крепостного ада и подняться на вершину культуры своего века. Холодом веет от нарисованной им картины его детства и его социальной среды. Не менее ужасен и путь его к культуре:

Давно те діялось. Ще в школі,
Таки в учителя дяка
Гарненько вкраду п'ятака
(Бо я було трохи не голе, —
Таке убоге), та й куплю
Паперу аркуш і зроблю
Маленьку книжечку; хрестами
І визерунками з квітками
Кругом листочки обведу,
Та й списую „Сковороду“.
Або „Три царіє со дари“;
Та сам собі у бур'яні,
Щоб не почув хто, не побачив,
Виспівую було та плачу...
І довелося знов мені
На старість з віршами ховатись,
Мережать книжечки, співати
І плакати у бур'яні, —
І тяжко плакать...[1]

Давно это было. Еще в школе украду у учителя-дьяка пятак (настолько был я беден, чуть-чуть не гол), куплю лист бумаги и сделаю маленькую тетрадку; крестами и узорами с цветами кругом листочки обведу и списываю „Сковороду“ или „Три царие со дары“; и сам себе среди сорных трав, чтобы кто-нибудь не услышал и не увидел, пою, бывало, и плачу...

И пришлось мне снова на старости прятаться со стихами, испысывать тетрадки, петь и плакать в сорной траве, — плакать тяжкими слезами.

Перед нами не только рабское происхождение Шевченка, но и рабская судьба подневольного поэта социальных низов, заброшенного за Каспийское море в пустыню „под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать и чтобы от него ни в каком виде не могли исходить возмутительные и пасквильные сочинения“ [2].

„Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого

---

[1] Стих. „А. О. Козачковському“. „Кобзарь“.

[2] Из формулярного списка Т. Г. Шевченка. Кониський, „Т. Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя“.

приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью“ [1].

Такой записью в своем дневнике 19 июня 1857 года характеризует Шевченко распорядителей его судьбою. Неудивительно, что и все автобиографические произведения поэта только и могли быть поэзией раба, борющегося за свободу. О себе Шевченко только и мог сказать, что

В неволі виріс між чужими,
І неоплаканий своїми,
В неволі плачучи, умру,
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі.

В неволе вырос между чужими,
и неоплаканный своими, в неволе, в плаче и умру, и все с собою унесу, малого следа не оставлю на нашей славной Украине, на нашей — не своей земле.

Итак, путь от крепостного рабства, из беднейших низов мужицких, к рабству политическому — ссылке с солдатской каторгой, — путь довольно естественный в царско-дворянском обществе. Но путь этот социально и политически формировал все поэтическое творчество Шевченка.

Выше сказано уже о том, как историческое прошлое Украины отражалось в представлении и в сознании основных классов тогдашнего общества — помещиков и крестьян. Откуда же Шевченко черпал социально-историческое содержание для своей поэзии? Ответ на это дает его происхождение от того беднейшего закрепощенного крестьянства, печаль и горе которого переливал он в свою поэзию. Свои произведения Шевченко назвал общим именем „Кобзарь“. Это далеко не случайно. Аполлон Григорьев назвал Шевченка последним кобзарем и первым великим поэтом новой великой литературы [2]. И не только по названию, но и по содержанию поэзия „Кобзаря“ выросла на почве народной поэзии бесчисленных безыменных кобзарей, то есть на почве народной поэзии, преданий, мечтаний и дум крестьянских. С этой точки зрения прав был Костомаров, когда писал о Шевченке, что „это был сам народ, продолжающий свое поэтическое творчество... На-

[1] Т. Шевченко. „Дневник“, изд. „Пролетарий“, 1925.
[2] См. Конiський, „Т. Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя“.

род как бы избрал его петь вместо себя". Под народом подразумевается, конечно, крестьянство. Конечно, величайшее историческое значение Шевченка-поэта не в том, что он — последний кобзарь, а в том, что он — первый великий поэт новой великой литературы и имеет мировое значение. Здесь мы говорим лишь о социальном происхождении поэта и его творчества, которое отнюдь не ограничивает глубину и силу его таланта и культурных и социальных устремлений, далеко ушедших от примитивного сознания его социальной среды.

Сам Шевченко в поэтической форме раскрывает, как едва ли не с молоком матери всасывал он в себя все то, что отражалось и формировалось в умах его социальной родни и среды...

Давно те минуло, як мала дитина,
Сирота в ряднині, як колись блукав
Без свите, без хліба по тій Україні,
Де Залізняк, Гонта з свяченим гуляв.
Давно те минуло, як тими шляхами,
Де йшли гайдамаки, — малими ногами
Ходив я та плакав, та людей шукав,
Щоб добру навчили.
...Згадаю те лихо, степи ті безкраї,
І батька, і діда старого згадаю...
Дідусь ще гуляє, а батько вже вмер.
Бувало, в неділю, закривши Мінею,
По чарці з сусідом випивши тієї,
Батько діда просить, щоб той росказав...
Про Коліївщину, як колись бувало,
Як Залізняк, Гонта ляхів покарав.
Столітнії очі, як зорі, сіяли,
А слово за словом сміялось, лилось...
...Спасибі, дідусю, що ти заховав
В голові столітній ту славу козачу:
Я її онукам тепер росказав[1].

Давно это было, как маленьким ребенком, сиротой в лохмотьях, я когда-то бродил без свитки, без хлеба по той Украине, где Железняк, Гонта гуляли с освященными ножами. Давно это было, как теми дорогами, где шли гайдамаки, — маленькими ногами ходил я и плакал, да людей искал, чтобы добру обучили.

...Вспомню то горе, те степи бесконечные, и отца, и деда старого вспомню... Дедушка еще гуляет, а отец уже умер. Бывало, в воскресенье, закрыв Минеи, выпив с соседом по чарке вина, отец деда просит рассказать о Колиивщине, как когда-то бывало, как Железняк и Гонта ляхов покарали. Столетние глаза, как звезды, сияли, а слово за словом смеялось, лилось...

...Спасибо тебе, дедушка, что ты спрятал в голове столетней казацкую славу: я ее внукам теперь рассказал.

[1] „Гайдамаки".

Сознание столетнего деда-крепостного, а лучше сказать — классовое сознание закрепощенного и угнетенного крестьянства, его исторические представления точно так же раскрываются в сознании и исторических представлениях Шевченка, как их подоснова, как песни, думы, предания, вообще народная поэзия раскрывается в поэзии Тараса Григорьевича. Как социальным происхождением Шевченко опирается на закрепощенное панщиной крестьянство, так и поэтическая его подоснова лежит преимущественно в народной поэзии.

О мужиках писал не один только Шевченко. В его время и украинская литература и русская уже открыли мужика. В последней были уже тогда Тургенев и Некрасов, но они были выходцами из дворянства, а представитель господствующего класса, обычно в угнетенном классе видит нечто более низкое, — или же дикое или смешное. Шевченко осмеял тех панов, которые „разыскали“ своих мужиков, и между прочим выяснил, как их, по его мнению, следует искать:

„Прочитали себе по складам „Энеиду“ (Котляревского), — писал он, — да пошатались возле шинка, да и думают, что вот когда уже они разыскали своих мужиков. Э, нет, братцы! Прочитайте вы думы, песни; послушайте, как они поют, как они разговаривают между собою, не снимая шапок; или как они в дружеской пирушке вспоминают старину, и как они плачут, будто в самом деле в турецкой неволе или у польских магнатов, закованные в цепи; тогда и скажете, что „Энеида“ хороша, а все-таки это юмористика на московский образец“ [1].

Вот это „не снимая шапок“ чрезвычайно метко характеризует литературных современников поэта, пионеров национально-литературного возрождения, панским языком говоривших о мужике, а этого мужика они знали только стоящим перед ними с шапкою в руках. Шевченко указывает на народную поэзию как на источник мужиковедения. Он правильно оценил „Энеиду“ Котляревского как юмористику.

---

[1] Предисловие Шевченка к „Кобзарю“.

Дворянским писателям свойственно выводить мужика как несколько смешного простака. Явление это общеклассовое. В свое время во французских „народных“ сценах непременно фигурировал пресловутый Жак-простак, а английские водевили в роли простачка обязательно выводят ирландского мужика. У Гоголя мы знаем смешные и ничтожные фигурки дяди Митяя и дяди Миная,— такими кажутся они ему из господской кареты. А его же Петрушка? Такими выступают мужики и в „Энеиде“, и в пьесе „Москаль-чарівник“ („Солдат-кудесник“) Котляревского. Естественно, что у мужика Шевченка нет „смехотворного“ подхода к мужикам. Поэтому для него и „Энеида“ хоть и хороша, а все-таки юмористика, а не серьезная вещь.

Правда, процесс открытия мужика пошел далее. О мужике заговорили, и серьезно. Особенно много о крестьянской доле писал Некрасов. Но — по замечанию М. П. Драгоманова — даже царское начальство „прекрасно понимает разницу между Шевченком, которого половину сочинений нечего и думать печатать в России, и Некрасовым, даже если бы последний не писал стихов в честь царя и Муравьева“ — виленского вешателя. „У Шевченка нелегальность не есть грехи молодости, как у Пушкина, и не крайние побеги, как у Некрасова. Он весь нелегален...“ [1].

Естественно, что „крайние побеги“ поэта-помещика Некрасова не могли дать крестьянина в том освещении, в каком он выступает у поэта-мужика Шевченка. Поэтому, возможно, Шевченко относился отрицательно и к творчеству Некрасова. Он, конечно, несправедливо считал Некрасова „аляповатым стихотворцем“, но социальное его предубеждение против Некрасова имело свои основания, ибо классовая принадлежность поэта накладывает печать на его творчество, даже когда он сочувствует тяжелой судьбе другого класса, своего антипода.

Дошевченковская украинская литература осуществляла

---

[1] М. Драгоманов, „Собр. политич. сочинений“, т. II, 1906, стр. 589.

основную свою задачу: она выводила в люди свою „народность“. А без мужика какая же могла быть народность, если только он и сохранил ее в полной чистоте? Поэтому литература эта имела вид более демократический, чем ее социальная сущность. В качестве объекта она имела мужика, но сама не была мужицкой. Ей приходилось бороться за право украинского, „мертвого“, как говорили, языка в литературе, за право на свое существование. Правда, эти ее стремления выявлялись довольно нерешительно. Каждый из украинских писателей работал в русской литературе и в качестве этнографических занятий писал на украинском языке. Даже Квитка, хоть и долго крепился против соблазна перейти в „единую великую“ литературу, в конце концов не выдержал. А мы знаем, что литература эта была ярко выраженной дворянской, хотя и в ней начал жить уже в качестве человека мужик.

Шевченко и в борьбу за украинский язык в литературе внес свою мужицкую страстность. Для него переход в русскую литературу означал не только замену „мертвого“ языка „живым“. Его переход в тогдашнюю русскую литературу был бы изменой и своему классу — крестьянству. Язык для него является звеном, связующим поэта с его народом, с его социальной средой; язык всегда связан у него с социальным содержанием. И на предложения со стороны русской литературы и критики (в том числе Гоголя и Белинского) бросить свой „мертвый“ язык Шевченко дает в „Гайдамаках“ такой ответ, который имеет значение его социально-литературного самоопределения:

...Дурень! дурень!
Били, а не вчили:
От козацтва, от гетьманства —
Високі могили,
Більш нічого не осталось,
Та й ті розривают;
А він хоче, щоб слухали,
Як старці співають!
Дарма праця, пане-брате:
Коли хочешь грошей,
Та ще й слави, того дива,

...Глупец! глупец! били тебя, но не научили: от казачества и гетманства кроме высоких курганов ничего больше не осталось, да и те раскапывают; а он хочет, чтобы слушали, как поют нищие! Напрасный труд: если хочешь денег, да и славы, того дива, то пой про „Матрешу“, „Про Парашу, радость нашу,“ „Султан, паркет, шпоры“, — вот где слава!

Співай про „Матрешу“, Про „Парашу, радость нашу“, „Султан, паркет, шпоры“,— От де слава! А то співа: „Грає сине море“, А сам плаче; за тобою І твоя громада У сіряках“...	А то поет „Грає синє море“, а сам плачет; за тобою и твое общество в сермягах“...
— Правда, мудрі! Спасибі за раду! Теплий кожух, тільки шкода, Не на мене шитий, А розумне ваше слово Брехнею підбите [1].	— Правда, мудрые! Спасибо за совет! Теплая шуба, да только жаль, не на меня шита, а умное ваше слово ложью подшито.

Здесь мы видим, как сознание поэта „от казачества и гетманства“ переходит к „обществу в сермягах“. Это копия той крестьянской идеологии, которая в историческом процессе закрепощения крестьянства и казачества приходит к идеализации прошлого и к национальной романтике. Но главное здесь в том, что Шевченко хотя и заявляет ниже: „хватит с меня, пока живу, и мертвого слова“, однако слово это ему нужно для выражения соответствующего ему содержания. Поэт разрешает социальную проблему своего поэтического творчества: с одной стороны — поэзия дворянских салонов, „султан, паркет, шпоры“, а с другой стороны — „общество в сермягах“ с его „мертвым словом“. Поэт-мужик отталкивает от себя „теплую шубу“ и остается в „сермяге“. В этом, собственно говоря, все общественно-историческое значение гения Шевченка. Он вынес свой гений из угнетенной крестьянской массы и только в неразрывной связи с этой массой мог достичь большой высоты. Можно с уверенностью утверждать, что если бы Шевченко порвал свою социальную связь с крепостной массой, то и от гения его ничего бы не осталось кроме среднего писателя или известного лишь узкому кругу художника.

Цитированные выше строки из „Гайдамаков“ Шевченко написал в 1841 году, следовательно почти в начале своей

[1] „Гайдамаки“.

поэтической деятельности, поэтому они и носят характер социального самоопределения поэта, того самоопределения, которое направляет все его творчество. То же направление Шевченко подчеркивает и в 1847 году, то есть во время наивысшего расцвета своего таланта, когда в предисловии ко второму изданию „Кобзаря“ писал: „Сковорода очень хорошо присматривался к народу, но не вслушивался в его язык, так как, может быть, не слышал его в колыбели от матери, а Артемовский хотя и слышал, но забыл, так как в паны постригся. Горе нам: безумие нас обуяло с этим мерзостным и богопротивным панством“. Здесь вполне определенное, резко отрицательное отношение к панству, вместе с тем язык здесь становится оружием народа, то есть все того же закрепощенного крестьянства, ибо не нужен он становится тому, кто „в паны постригся“. Поэтому и борьба Шевченка за язык, в противовес этнографическим забавам и игре в „народность“ его современников-земляков из помещиков, носила социальный характер, как поднятие к поэзии тех низов мужицких, из которых и сам Шевченко вышел. Неудивительно, что его литературные современники отворачивали носы от этой поэзии, от которой дегтем пахнет, как сказал Гоголь, — „слишком много дегтя: даже больше, чем поэзии“.

Для дворянской литературы поэзия Шевченка была не по душе. Сами дворянские писатели не прочь были и о мужике написать пару сентиментальных слов, посочувствовать немного его тяжелой жизни, но поэзия мужика, не имеющая для пана ни одного доброго слова, — это для них уже не поэзия, а деготь, и мужицкий поэт — это уже просто дурак, если он поэт.

„Называют меня энтузиастом, — писал Шевченко в 1843 году, — сиречь дураком. Бог им простит; пусть я буду и мужицкий поэт, лишь бы только поэт, мне больше ничего и не нужно“.

Все это указывает на ту борьбу, которую пришлось выдержать поэту, чтобы не потерять свое социальное лицо; все это указывает на те стремления оторвать Шевченка

от его „общества в сермягах“ и присоединить его к „господствующей литературе“, в которых выражалась классовая борьба помещичьего общества против всяких проявлений активности, в том числе в поэзии и языке, со стороны угнетенного крепостного сословия — это была борьба на идеологическом фронте за господство помещиков, хотя бы и либеральных.

Шевченко пронес свою мужицкую природу через все соблазны верхов того образованного общества, среди которого ему приходилось вращаться. Его ответ на предложение Варфоломея Шевченка жениться на барышне, а не на прислуге, можно считать классическим: „Я по плоти и по духу, — писал Тарас уже в 1859 году, — сын и родной брат нашего горемычного народа; то как же соединить себя с собачьей панской кровью?“

То, что Шевченко и в поэтическом творчестве и в жизни не соединил себя с „панской кровью“, то, что он остался с родным ему наиболее угнетенным и нищенским социальным трудовым слоем тогдашнего общества, — роднит его с угнетенными трудовыми классами вообще.

Это не значит, что Шевченко не имел на себе и не отражал социально чуждых влияний, но даже и в них он сохранял взгляды и заблуждения своей среды крепостных крестьян; всегда и всюду социальное происхождение Тараса обусловливало его поэтическое и общественное действие.

III. НАЦИОНАЛЬНО-КАЗАЦКАЯ РОМАНТИКА ПРОШЛОГО

Из крестьянства, задушенного панщиной и порабощенного, положение которого с развитием крепостного права все более и более ухудшалось, из его представлений и воспоминаний о казатчине как о своей социальной воле, из песен, дум и преданий, заполненных отзвуками предыдущей исторической эпохи казацкой революции, — вынес Шевченко свою идеализацию исторического прошлого Украины и свою национально-казацкую романтику.

Выше отмечено уже, что такой романтики не чуждо

было и украинское дворянство. Многие помещичьи роды вели свое происхождение от казацкой старшины и даже от гетманских семей. Эти помещики не могли не вздыхать по прежней своей политической славе и полновластию. Правда, отношение дворянства к своему историческому прошлому не могло быть активным. Украинское панство не могло на этой основе утвердить свой украинский патриотизм, ибо экономические позиции оно укрепляло именно за счет ликвидации своей политической автономии и самой высокой ступени своего благосостояния и богатства достигло благодаря своей верноподданности царской России. Поэтому и патриотизм его раздваивался между Украиной прошлых времен, когда шляхетство политически господствовало над страной, и современной Россией, давшей ему вполне реальные ценности — имения и богатства, господство над своими крепостными и участие в политическом господстве в качестве части всероссийского дворянства. Украинский патриотизм был забавой, а российский — вполне практической вещью.

Это отражалось и в литературе. И Квитка, и Гребенка, и Кулиш, и Костомаров, и даже Гоголь отдавали должное исторической романтике. Но если ставился вопрос насущный, то выходило, что „любовь моя к Украине, — как сказал Кулиш на допросе, — нисколько не уменьшает во мне благодарной любви к общему нашему отечеству, России“ [1].

У крестьянства объективно не могло быть оснований для такой „благодарной любви“ к царской России, так как в ней оно лишь теряло, ничего не приобретая. Правда, в его сознании довольно живучи были надежды на царя, что, может быть, он-таки защитит крестьян от помещиков. Но царская власть, особенно царица Екатерина, дала немало примеров для выветривания подобных надежд. И если бы крестьянство могло подняться к пониманию всего строя в целом, стоявшего на его спине, то для царелюбия не

---

[1] Матеріяли до історії Кирило-методіївського братства. Вид. Укр. наук. т-ва.

могло бы остаться места. Шевченко, поднявшийся до культурного уровня современного ему „образованного“ общества, идеологически оставаясь крепостным крестьянином, неизбежно должен был притти к такому пониманию.

Его историческая романтика в первую очередь приводила его к разрыву с царско-российским патриотизмом. Идеализируя казацкое прошлое, он выступает со страстной любовью к Украине, к Украине раздавленной, порабощенной, крепостной. В современной ему обстановке Шевченко не видел ничего, на чем бы могла отдохнуть его душа, а потому он обращает взгляды в прошлое и заполняет им почти весь начальный период своего творчества. С печалью он вспоминает:

Було колись — в Україні
Ревіли гармати;
Було колись — запорожці
Вміли панувати!
Панували, добували
І славу і волю, —
Минулося: остались
Могили по полю.

Было некогда — в Украине пушки ревели; было некогда — запорожцы умели господствовать! Господствовали, добывали и славу и волю, — все прошло: остались могилы по полю.

Для поэта господство запорожцев вяжется со славой и в о л е й, но кончилась эта воля, и потому-то

Було колись добре жити
На тій Україні...
А згадаймо! Може, серце
Хоч трохи спочине, —

Было когда-то хорошо в Украине жить... А давайте вспомним! Может быть, сердцем хоть немного отдохнем, —

с печалью заканчивает он. Только и остается, что тоску свою хоть немного разогнать идеализированными воспоминаниями о прежней „воле“.

Сама эта историческая романтика в поэзии Шевченка не является чем-то незыблемым, она меняется соответственно с изменениями представления Шевченка о прошлом Украины. В первых своих произведениях этого рода — „Иван Підкова“, „До Основ'яненка“, „Тарасова ніч“ — он стоит на почве полной идеализации всей казатчины и гетманщины, в этом его представление отличается от представления о казацко-гетманской Украине своих совре-

менников-помещиков лишь вносимой в эту идеализацию мужицко-гайдамацкой страстностью. Противопоставляя современное ему состояние Украины представлениям о прошлом и не имея вначале никаких надежд на возврат этого прошлого, он все же ищет, чем бы ударить врага, который смеется:

Не вернеться воля,
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани, —
Обідрана сиротою
По-над Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить,
Тільки ворог, що сміється.
Смійся, лютий враже,
Та не дуже, бо все гине, —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда,
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...

Не вернется воля, не вернется казатчина, не встанут гетманы, не покроют Украину красные кафтаны, — оборванная, сиротой плачет она над Днепром; тяжело сиротинушке, а никто не видит, только враг смеется. Смейся, лютый враже, да не очень, ибо все гибнет, но не сгинет слава; не сгинет, а расскажет, что было на свете, чья правда и чья кривда и чьи мы дети. Наша дума, наша песня не умрет, не сгинет...

Таким образом, не все еще погибло от того славного прошлого в представлении поэта, — остается слава, „наша дума, наша песня“, а если так, то остается еще и средство славу казацкую внукам рассказать и вложить им в руки это оружие слова. Активность поэзии присуща Шевченку и тем отражает в нем не просто крестьянина, но крестьянина беднейшего, батрака, который, собственно, и несет в себе такую социальную активность, какой не имеет зажиточный крестьянин.

Но ведь только этой активностью и отличается идеализация прошлого от представлений о нем романтиков из украинского дворянства. Принципиально же она еще не отличается от воспоминаний помещиков об атрибутах политического блеска их предков в разных ролях гетманской Украины. Нет и надежд на возврат прошлого,

от которого и осталась только слава. Здесь еще помещики могут вместе с Шевченком предаваться воспоминаниям:

Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться;
Було колись — панували,
Та більше не будем...
Тії слави козацької
По-вік не забудем!

Была когда-то гетманщина, да больше не вернется; когда-то мы господствовали, да больше не будем... и той славы казачества вовек не забудем!

За такие стихи, как говорил Кулиш, собственно и любили Шевченка образованные помещики, ибо и они могли ставить себе невеселые вопросы:

Де поділось козачество,
Червоні жупани?
Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетьмани?

Где девалось казачество, красные кафтаны? Где девалась доля-воля, бунчуки[1], гетманы?

Еще в „Гайдамаках“, написанных в 1841 году, Шевченко в лице героя поэмы Яремы высказывает свои мысли и мечты о казатчине, гетманщине:

Козак оживає,
Оживуть гетьмани в золотім жупані,
Прокинеться доля; козак заспіва:
„Ні жида, ні ляха!“ А в степах України —
Дай-то боже милий, — блисне булава!

Казак оживает, оживут гетманы в золотом кафтане, проснется доля; казак запоет: „Ни жида, ни ляха!“ А в степях Украины — дай-то, боже милый, — блеснет булава!

Но далее за этим начинается расхождение. Для помещиков казачество — это была старшина, „бунчуки, гетманы“. Шевченко же свою историческую романтику черпал из уст столетнего деда-крепостного, из песен, дум, преданий народных, в общем — из исторического мировоззрения закрепощенного крестьянства.

Цитированные выше „До Основ'яненка“, „Тарасовій ночі“, „Гайдамаки“ Шевченко написал в 1839—1841 годах. А уже в 1843 году он развенчал Богдана Хмельницкого, героя украинского шляхетства. И это неудивительно, что

[1] Бунчук — один из знаков гетманского достоинства: древко с металлическим яблоком на конце, под которым свешивался лошадиный хвост'

Шевченко начал развенчивать ясновельможных панов гетманов, начиная с Хмельницкого, если вспомним, что и народное сознание всегда его проклинало за отдачу „черни“ на ясырь (дань) татарам, за предательство хлопских интересов в казацкой революции, за жестокое усмирение бунтов „черни“. И Шевченко совершенно в духе народной песни от имени Украины проклинает Богдана („Розрита могила“):

Ой, Богдане, Богданочку!
Як би була знала —
У колисці б придушила,
Під серцем приспала.

Ох, Богдан, ты мой Богданчик!
Если бы я знала — в колыбели
б удавила, под сердцем удушила.

В 1847 году Шевченко снова обвиняет Богдана Хмельницкого („Суботів“) за то, что „погубил бедную сироту Украину“, а в 1859 году уже жестоко издевается над этим „препрославленным казачьим умным отцом“ и в „свиной луже“ его купает.

Чем дальше, тем больше Шевченко начинает выступать против современного ему панства, и в то же время в его национально-казацкую романтику проникает критическое отношение и к историческому панству — старшине, гетманам. В стихотворении „Н. В. Гоголю“ он еще своих земляков противопоставляє вождю гайдамацкого восстания, Гонте, и говорит:

Не заревуть в Україні
Вольнії гармати!
Не заріже батько сина,
Своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни.
Не заріже, викохає
І й продасть в. різниці
Москалеві... Себ-то, бачиш,
Лепта удовиці
Престолові, отечеству...

Не заревут в Украине вольные пушки! Не зарежет отец сына, свое дитя, за честь, славу, за братство, за волю Украины. Не зарежет: выпестует и продаст на бойню москалю... Это, видишь ли, лепта вдовы престолу, отечеству.

В конце концов поэт приходит к такому выводу („Сон“, 1847 г.):

Не жди тії слави!
Твої люди окрадені,
А панам лукавим
На що здалась козацькая
Великая слава?

Не жди славы! Люди твои обокрадены, а панам лукавым — зачем она, казацкая великая слава?

„Обокраденные люди" — угнетенные крепостные крестьяне, а „панам лукавым" не нужна казацкая слава, так как они усердно служат престолу.

Клеймя своих земляков-панов, разоблачая и высмеивая их патриотизм к украинскому прошлому, Шевченко вместе с тем развенчивает и вождей „казацкой славы". Он советует своим землякам, „славных прадедов великих правнукам поганым": присмотритесь к этой славе, присмотритесь хорошенько, да и спросите тогда себя:

Що ми?
Чиї діти? Яких батьків?
Кім, за що закуті?
Та й побачите, що ось що
Ваші славні Брути:
Раби, підніжки, грязь Москви,
Варшавське сміття ваши пани,
Ясновельможнії гетьмани.

Что мы? Чьи дети? Каких родителей? Кем, за что закованы? И увидите, что вот что ваши славные Бруты: рабы, холопы, грязь Москвы, варшавский сор, ваши паны, ясновельможные гетманы.

К такому быстрому развенчанию идеализированной в начале гетманщины привело Шевченка его мужицкое сознание, выяснившее ему („Невольник") —

І як степи запорізькі
Тоді поділили,
І панам на Україні
Люд закріпостили;
Як Кирило з старшинами
Пудром обсипались
І в цариці, мов собаки,
Патинки лизали.

И как степи запорожские тогда поделили, и панам на Украине народ закрепили; как Кирилл с старшинами пудрой обсыпались и у царицы, как собаки ботинки лизали.

Как реакция и на историческое и на современное панство, которое дерет шкуру с своих крепостных, а в прошлом у царицы лизало ботинки и хуже палача распинало

---

[1] Гетман Разумовский.

Украину,—в Шевченке загорается страстная любовь к своей угнетенной Украине: „Я так ее,—говорит он,—я так люблю убогую Украину, что прокляну святого бога, за нее душу погублю".

На фоне помещичьего патриотизма к престолу, панской исторической романтики любовь Шевченка к Украине и его национально-казацкая романтика имеют уже национально-революционный характер, это—любовь к убогой оборванной Украине с ее закрепощенным народом.

Шевченко очень скоро покончил с идеализацией гетманщины в целом. Чувствуя классовую враждебность „славных Брутов"—гетманов и старшины—к своему „горемычному народу" мужицкому, он видит в них и причину современного ему несчастья Украины. „Был я в прошлом году на Украине,—писал он в 1841 году Кухаренку,—был у Межигорского спаса и на Хортице, везде был и все плакал: разорили нашу Украину". За что же терпит она такое наказание? В начале своей поэтической деятельности он лишь ставил такие вопросы. На высшей ступени ее развития Шевченко уже вполне определенно отвечал: „За Богдана, за бешеного Петра и за поганых панов" (1859 г.).

Зато до конца дней Шевченка ненарушимой в его национально-казацкой романтике осталась идеализация казачества. Если вспомнить отсутствие резкой грани между казачеством и другими сословиями, если иметь в виду, что в представлениях крестьянства борьба против панщины за волю связывается с переходом в казаки и что казачество было для него социальным идеалом, если к этому добавить закрепощение значительной части казачьих масс, переход их в ряды посполитых и в связи с этим уравнение социальной судьбы с крестьянством,—то такая идеализация у Шевченка казацкой воли будет вполне понятна. В его сознании только и отражается уже позднейшая, несчастная казацкая доля, что лежит зарыта „в могиле проклятой". Он проклинает царя Петра за то, что он „болота засыпал благородными костями" казаков, которых гонял на работы по прорытию каналов и осушению болот под Петербургом, „поставил столицу на их изувеченных тру-

пах“; и свобода лежит рядом с казацкими благородными трупами:

Оце воля спить.
Лягла вона славно, лягла вона вкупі
З нами, козаками. Бачиш, як лежить!
Неначе сповита... Тут пана немає:
Усі ми однако на волі жили;
Усі ми однако за волю лягли, —

Здесь свобода спит. Легла о
славно, легла она вместе с на
казаками. Видишь, как лежи
будто связанная... З д е с ь п а
н е т: все мы одинаково на во
жили; все мы одинаково за во
легли,—

такими словами говорят казаки в Шевченковой поэзии. Близость социальной судьбы казачества к крестьянской неволе в результате ликвидации казачества, разрушения Сечи, закрепощения низов казачьих не дает возможности поэту увидеть действительную историческую роль казачества как социального слоя. И остается тоска по „казацкой воле“, остается желание, чтобы в разрытой могиле „нашли то, что там похоронили, — тогда бы не плакала мать, дети бы не горевали“.

Шевченко даже в природе видит эту неволю — и села казацкие не такие раньше были, „да все пошло царям на игрище: и Запорожье и село“; он даже готов проклясть природу, остающуюся спокойной свидетельницей несчастий его народа. Но ведь не природа, не Трахтемировские горы в этом виноваты. „Нет, нет! Не вы прокляты, а гетманы, пособники, ляхи поганые“.

Однако мужицкое сознание Шевченка хоть и неясно, но все же отразило то, что не всегда казачество защищало свободу, свободу в представлении о ней крестьянства, что в историческом прошлом его интересы не были одинаковы с крестьянскими. Это затемненное в мужицкой исторической памяти воспоминание о казацкой воле, не всегда бывшей и хлопской волей, выражается устами казака, которого Шевченко для этого поднимает из могилы („За байраком байрак“).

Нас тут триста, як шло,
Товариства лягло,
І земля не приймає.
Як запродав гетьман
У ярмо християн,

Нас тут триста, как шло, то
варищей легло, и земля не при
нимает. Как запродал гетман в
ярмо христиан, нас послал под
гонять, — н а с в о е й з е м л

Нас послав поганяти, —
По своїй по землі
Свою кров розлили
І зарізали брата,
Крови брата впились,
І отут полягли
У могилі заклятій...

своюю кровь пролили и зарезали брата; кровью брата упились, и здесь легли в могиле проклятой [1].

Здесь сквозь туман идеализации и исторической романтики как будто выглянули контуры настоящей общественно-исторической роли казачества, всегда усмирявшего хлопов-крестьян, когда они и для себя хотели „казацкой воли“. Таким образом, „воля“ эта была такова, что казаки „на своей земле свою кровь пролили и зарезали брата; кровью брата упились“, но ведь потому-то их „и земля не принимает“, потому-то и могила их проклята. Такое искупление несет исторический казак перед своими потомками. А в конце концов не он сам в этом виноват, а лишь гетман, пославший казаков подгонять в ярмо крестьян.

Шевченко не мог экономическим отличием казачества от крестьянства объяснить такую противохлопскую работу казачества в прошлой истории Украины. Экономическая природа казачества с соответствующим ей влиянием и на социально-политическую его роль прошла мимо сознания поэта, хотя и нельзя сказать, чтобы он совершенно не видел ее. Ведь его романтический казак довольно прозрачно показывает свои хуторянские достатки, когда рассказывает о борьбе с нашествием ляхов, о реках крови и могилах после него „на нашей, сынок (казацкой), земле“. „Я жил на хуторе“, говорит этот казак, —

„Я стар був, немощен. Послав
В табун я коней до обозу,
Гармату, гаківниць два вози,
Пшона, пшениці, що придбав;
Я всю мізерію оддав
Моїй Україні-небозі
І трьох синів своїх“.

„Я стар был, немощен. Послал косяк я лошадей в обоз, пушку, ружей две телеги, пшена, пшеницы, что имел; я все убогое имущество отдал моей бедной Украине и трех своих сыновей“.

[1] Разрядка моя. — *А. Р.*

Итак, „мизерия“ сия довольно солидна, чтобы защищать ее от нашествия польского феодализма, чтобы отличить казака с его интересами мелкого помещика, вольного хуторянина-заимщика от бедного крестьянина с его панщиной. Но в свете национальной романтики этот казак-хуторянин казался борцом за свободу, за Украину. Такого казака могло создать лишь мужицкое сознание, перед которым он все же остался на своем романтическом пьедестале.

Правда, иногда это сознание у Шевченка очень-очень смутно начинает даже связывать прежнего казака с современным ему паном.

Котилися
І наші козачі
Дурні голови за правду,
За віру христову,
Упивались і чужої,
І своєї крови...
А получчали? Ба, де то!
Ще гіршими стали!
Без ножа і авто-да-фе
Людей закували,
Та й мордують... Ой-ой, пани,
Пани християни!

Падали и наши глупые казачьи головы за правду, за веру христову, упивались и чужою, и своею кровью... А разве стали лучшими? Нисколько! Еще худшими стали! Без ножа и аутода-фе людей заковали и мучают... Ох, паны, паны христиане!

Но дальше такого подсознательного представления о классовой природе идеализируемого казачества Шевченко не пошел и не составил себе более ясного мнения о социальных силах прошлой борьбы. В общем в отношении казатчины Шевченко сам признает, что он не знает ничего кроме того, что „иногда старый казак снится мне грешному — усатый с своею волею, на черном вороне коне“ (1849 г.).

В отношении к историческому прошлому Шевченко в общем остался романтиком, хотя своим социальным чутьем отбросил многих его героев из панства и старшины. Но социально-экономическая борьба в прошлом представляется ему в идеологическом тумане борьбы за правду, волю, за Украину и за веру христову. Связь классовых

противоречий с национальными и религиозными отличиями боровшихся благоприятствует такой национально-религиозной идеализации. Но в основе ее и для Шевченка ясен социальный элемент. Паны-ляхи и „жиды-рандари“ (арендаторы) — эти исторические классовые враги украинского крестьянства и казачества — являются врагами и Шевченка. В „Гайдамаках“ культ социальной борьбы казачества и хлопства против шляхты и еврейского ростовщического капитала, окрашенный, конечно, национально-религиозной идеологией, достигает высокой ступени опоэтизированной романтики стихийного террора.

Зато в отношении к своей современности Шевченко был целиком реалистичен...

Национальный культ казацкой Украины не имел для невольника-мужика Шевченка лишь умозрительного характера, как это было для его земляков из помещиков, соединявших национальную романтику с верноподданничеством „престолу“, „отечеству“. Шевченко высмеивает подобный патриотизм. Можно думать, что его национальная романтика на основе его социальной природы и толкнула Шевченка самым резким образом встать против всех основ современного ему царско-крепостнического общества. От ненависти к царю, который „распинал нашу Украину“, к царице, которая „доконала вдову-сиротину“, один лишь шаг к пылкому цареборчеству вообще. У Шевченка мы не видим и намека на те надежды на далекого царя, будто бы враждебного близким к мужику помещикам-угнетателям, — надежды, которыми еще отчасти жило крестьянство. Не национально-казацкая ли романтика помогла так бесследно их вытравить?

К тому же в свой национальный культ Шевченко вносил силу и активность, исходившую из революционной потенции его социальной подосновы.

Ненависть к угнетателям царям и панам проходит через националистические произведения Тараса, а это превращает их в национально-революционную проповедь. Вот, например, строки, падающие будто сгустками крови („Іржавець“):

Кобзарі нам росказали
Про війни і чвари,
Про тяжкеє лихоліття,
Про лютиї кари,
Що ляхи нам завдавали,
Як нас розпинали.
Що-ж ділось по Шведчині, —
То й ляхи-б злякались
Оніміли-б з переляку
П'яні небораки,
Отак її воєводи,
Петрові собаки,
Рвали, гризли...

Кобзари нам рассказали о войнах и брани и тяжелом лихолетьи, о жестоких казнях, которым подвергали нас ляхи, когда распинали нас. Что же было после шведчины, — то и ляхи б испугались, онемели бы с перепуга пьяные горемыки, так ее (Украину) рвали, грызли воеводы — Петровы собаки.

А с таким огнем в груди поэт-невольник и крепостной не мог лишь тосковать по бунчукам да красным кафтанам, — его национальная романтика вплотную подходит к проповеди национальной революции. Свою роль в этом отношении он сам определяет как роль сеятеля восстания:

Заснула Вкраїна.
Бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила,
А дітям надію в степу оддала.

Заснула Украина. Сорными травами покрылась, гнилью зацвела, в луже, в болоте сердце прогноила и в дупло холодное змей напустила, а детям надежду в степи отдала.

Но поэт не может заснуть вместе с нею, ибо „думы проклятые рвутся зажечь душу, сердце разорвать“, и поэтому он сеет свои слезы („Чигирин“) в надежде, что —

Може зійдуть і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату,
І наллють живої
Козацької тії крови...

Может быть, взойдут и вырастут ножи обоюдоострые, разрежут гнилое сердце, трудное, и выцедят гнилую кровь, и нальют живой казацкой крови.

В конце концов у него вырывается крик активного оптимизма („Суботів“):

Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!

Восстанет Украина и развеет тьму неволи, свет правды засияет, и помолятся на воле дети рабов!

Крепостной поэт-бунтарь выявляется полностью. Он не мыслит себе Украину без ее социальной — крепостной — основы. Для него „восстанет Украина“ — означает свободу и правду для детей убогих крепостных рабов. Этим национализм Шевченка опирается на определенную социальную основу, которая в дальнейшем перерастает и рамки его национальной ограниченности, превращая нашего поэта, как увидим ниже, особенно во второй половине его деятельности, в борца социальной революции.

IV. СРЕДИ УКРАИНСКОГО ПАНСТВА

Шевченко не непосредственно из крепостного батрака сделался поэтом. Прежде чем стать гениальным Кобзарем, Тарас должен был пройти определенный жизненный путь. А этот его путь шел через Академию художеств, через приобщение к тогдашней культуре, через общение с такими людьми, как Брюллов и Жуковский. Вообще культурное развитие крепостного Шевченка, его освобождение от крепостного права с помощью культурных верхов общества, высокое художественное и общее образование — все это ввело Шевченка в определенную общественную среду, в круг сливок современной ему „интеллигенции“.

А так называемая интеллигенция всегда в основном является отражением — через зеркало культуры и просвещения — официального общества, она представляет собой лишь его окультуренное социальное лицо. В буржуазном обществе интеллигенция составляет служебный кадр, обслуживающий капитализм на всех участках управления, науки, техники, искусства, вообще культуры. Еще в большей мере это относилось и к современному Шевченку обществу. Там эта интеллигенция была в крайнем случае улучшенной копией помещичье-дворянского общества. В социально-экономических условиях крепостничества, собственно, только помещики и имели полный доступ к науке, просвещению, культуре. Народные массы обречены были на рабство и полную темноту. Только одиночки могли из них выходить в ряды „образованных людей“. В среде тогдашнего „куль-

турного общества“ даже „разночинец“, носитель буржуазных тенденций в помещичьем строе и герой послереформенной эпохи, в 40-х годах еще не играл заметной роли.

Таким образом, приобщившись к просвещению и культуре, прокладывая путь для своей музы, молодой поэт Шевченко неизбежно должен был очутиться в среде официального культурного общества, то есть интеллигенции, то есть образованного панства. Кстати сказать, в эпоху клонящегося к упадку, отживающего общественного строя культурные, интеллигентские слои общества, по крайней мере в передовой части своей, выражают тенденцию быть прогрессивнее своего социально-политического режима, иногда становятся к нему в оппозицию, а лучшие элементы из них даже переходят в лагерь угнетенного класса, борющегося против старого строя за свое освобождение и господство. Для времен Шевченка достаточно было такой „прогрессивности“, „гуманизма“ передовых элементов дворянско-помещичьего общества, чтобы сделать возможной его связь с поэтом и влияние на него со стороны этой культурной среды.

Первые свои поэтические выступления Шевченко начал на почве исторической романтики, или же и просто романтизма („Причинна“, „Утоплена“ и т. д.) в духе современной ему литературы (Жуковский и др.). Его исторический романтизм, его бунчуки, гетманы, идеализация казацкого прошлого не могли не импонировать землякам из украинского панства.

„Есть тут один земляк Шевченко; ну и завзятый же писать стихи! Как напишет что-нибудь, так только щелкни языком и ударь руками об полы“,—так писал в 1838 году, то есть в самом начале поэтического творчества Шевченка, украинский поэт Гребенка к украинскому писателю Квитке-Основьяненко. Таким отношением к поэзии Шевченка выявляет себя старшее поколение деятелей украинского литературного возрождения, смотревших на свое литературное дело как на забаву и „щелкавших языком“ по поводу „завзятых“ писаний Шевченка. Прищелкивая языком, это поколение панства принимало в свои объятия молодого поэта.

Много серьезнее принимало Шевченка младшее поколение, его ближайшие современники. Находясь на Украине в 1845–1847 годах, в зените своей славы, Шевченко был самым почетным гостем среди украинских помещиков и образованных земляков. Биограф Шевченка Конисский рассказывает, как Кулиш, приехавший в это время в Киев, видел, что „Шевченко стал не таким, каким он его оставил, выезжая из Украины в Петербург. Это уже был не кобзарь, а национальный пророк“, — говорит Конисский, „киевская интеллигенция встречала украинского борца глубоким почтением“. По выражению Кулиша, киевляне „взирали на Шевченка, как на какой-то светильник небесный“ [1].

Эта „интеллигенция“ уже не только „щелкает языком“. Она уже идеологически отражает ту эпоху и то панство, для которых, по свидетельству М. Грушевского, „народность становится боевым кликом культурного движения, предметом восторженного культа“. Развивались капиталистические отношения. Нарождалась украинская буржуазия. Среди передовых элементов украинских помещиков намечались уже буржуазно-либеральные тенденции, они уже говорили об освобождении крестьян, ибо крепостное хозяйство становилось явно невыгодным экономически, они уже мечтали о некоторых политических свободах, которые бы сделали их представителями народа и его благодетелями. И вот они имеют живого „светильника“ этой „народности“, выразителя „народной души“ — мужицкого поэта. Как же не почитать его? Правда, очень многим из образованных помещиков пришлось вскоре открещиваться от Шевченка, проклинать его, находить у него только „пьяную музу, поддержанную худшими, а не лучшими умами своей родины“, как это случилось с Кулишом [2]. Но это уже было реакционное похмелье после „увлечений молодости“ — реакция на Шевченкову револю-

---

[1] О. Конiський, „Шевченко пiдчас вищого розцвiту його кебети“, 1845–1847.

[2] Цит. у Драгоманова, „Шевченко, українофіли й соціялізм“.

ционную поэзию. Сейчас увидим, что и эти народолюбивые увлечения образованных панов были чрезвычайно скромны, настолько скромны, что совершенно не могли содействовать развитию Шевченка в революционном направлении, а скорее были тормозом такого развития.

Какую социально-политическую программу намечали себе ученые приятели Шевченка, видно из таких заявлений Кулиша. „Костомаров, — писал Кулиш в воспоминаниях о нем, — помогал мне питать огромную надежду, что наши просвещенные помещики, так дружно полюбившие национального поэта (Шевченка), сделают первый шаг к освобождению земляков от крепостной зависимости“[1]. А как они мыслили это освобождение от крепостной зависимости — видно из слов того же Кулиша о том, что они с Костомаровым намечали „систему освобождения крестьян путем образования свободных от министерского влияния школ“ в помещичьих имениях „с определенною целью примириться посредством этой услуги с обиженными во время Екатерины меньшими братьями“[2].

Все эти построения систем не выходят за пределы желаний образованных помещиков-украинофилов. Поэтому понятно, что когда они читали ненапечатанные нелегальные революционные произведения Шевченка, то или у них волосы становились дыбом, как это было с Квиткою, или же их обдавало страхом, как признается Костомаров. „Я увидел, — пишет он, — что муза Шевченка раздирала завесу народной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и упоительно было заглянуть туда!!! Тарасова муза пророчала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями“[3].

Такое идеологическое лицо Тарасовых ученых приятелей и их отношение к его музе приводит Драгоманова к справедливому выводу, что „не ученые братчики шли

---

[1] Семевский, „Крестьянский вопрос в России“, т. II.

[2] В. Семевский, „Кирилло-мефодиевское общество 1846—1847 гг.“ стр. 18.

[3] Там же, стр. 11—12.

впереди поэта, а поэт опередил их". Но этого мало. Слова Костомарова говорят за то, что народная жизнь, показанная Шевченком, была совершенно чужда его ученым приятелям; им хоть и „сладко" заглянуть в нее, но и „страшно". В этом наглядно проявляется классовый барьер между Шевченком и его культурной средой. По поводу преувеличенных представлений о революционности этих ученых приятелей Шевченка, киевских славянофилов, еще придется говорить в главе о кирилло-мефодиевских братчиках. Здесь для нас важно лишь подчеркнуть либерально-помещичий характер окружающей среды поэта, чтобы яснее потом стали и его взаимоотношения с нею.

В общем пребывание Шевченка среди украинского панства имело двоякое значение. С одной стороны, этот период в жизни Шевченка наиболее переполнен сентиментализмом, национальною романтикою, этнографизмом и патриотизмом. С другой стороны, в этот период поэт определил свое резкое критическое отношение к этому панству. Необходимо отметить, что кроме киевских ученых славянофилов и украинофилов Шевченко бывал также и в обществе другого типа панов, левобережных, тоже украинофильствующих помещиков, составлявших „общество мочемордов" и проводивших время в пьянстве. Правда, в своем пьяном и бесшабашном, „богемном" образе жизни они могли высказывать мысли гораздо более вольнодумные, чем аккуратные в своей учености славянофилы. На их банкетах Шевченко мог услышать и тосты за французскую республику и даже за украинскую республику. Возможно, что в этой компании Шевченко слышал радикальные мысли и в области искусства и в области политики, но его жизнь среди „мочемордов", по выражению Драгоманова, „выглядит довольно бесцельным полупанским ничегонеделанием" [1].

В таком кругу людей, — а они были еще наилучшими среди тогдашнего образованного общества, — мужицкий поэт должен был или погибнуть как гений батрацко-мужицкий,

---

[1] М. Драгоманов, „Шевченко, українофіли й соціялізм".

или же решительно выступить против такого общества. По свидетельству современников, „Шевченко не любил долго быть с панами и избегал княжеских хором, хотя его туда часто и приглашали“ [1]. Но наилучшее свидетельство отношения Шевченка к своему панству — это его поэзия. Его „Посланіе до мертвих і живих“ каждым словом своим говорит не о каких-то неопределенных земляках, а о земляках-панах, помещиках. К ним обращается тут не их национальный поэт, а поэт-мужик, который видит, как они „правдою торгуют, людей запрягают в тяжелые ярма“. Их он предостерегает, им угрожает судом и кровью.

Достается здесь и славянофилам, на которых Шевченко изливает свои сарказмы: „вы и Коляра читаете, и Шафарика, и Ганку, а в славянофилы так и прете, и все языки славянского мира знаете, кроме своего“. Он не жалеет и свободомыслящих помещиков, ездивших за границу-

Шукати доброго добра,
Добра святого, волі, волі,
Братерства братнього... Найшли,
Несли, несли в чужого поля,
І в Україну принесли
Великих слів велику силу,
Та й більш нічого... Кричите,
Що бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонялись,
І хилитесь, як і хилились,
І знову шкуру деретe
З братив незрячих, гречкосіїв...

Искать хорошего добра, добр святого, свободы, братства... Наш ли, несли с чужого поля и в Украи ну принесли множество ве ликих слов, и больше ничего. Вы кричите, что бог создал вас не для того, чтоб вы неправд поклонялись, а покоряетесь, ка и раньше покорялись, и снов деретe шкуру с темны братьев-сеятелей [2].

Таким образом, Шевченко с дальновидностью, свой ственной угнетенным классам, видит, что „множество ве ликих слов“ в устах либеральствующих угнетателей-по мещиков нисколько не мешает им драть шкуру „с тем ных братьев-сеятелей“. Не эти ли „вольнолюбивые“ мо чеморды выступают здесь в роли искателей свободы и шкуродеров одновременно?

Поэт-проповедник от имени своего угнетенного класса предостерегает всех этих земляков-помещиков. „Опомни

[1] Кониський, „Шевченко підчас вищого розцвіту його кебети“.
[2] Разрядка моя. — *А. Р.*

тесь, недостойные человеческого имени, юродивые дети!"— кричит он им.

Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде:
Розкуються незабаром
Заковані люди;
Настане суд, заговорить
І Дніпро, і гори,
І потече сторіками
Кров у сине море
Дітей ваших...

Опомнитесь! Будьте людьми, иначе горе вам будет: скоро сбросят цепи закованные люди; настанет суд, заговорят и Днепр и горы, и потечет сотнями рек кровь детей ваших в синее море...

Здесь уже не только предостережение, но и пророчество гибели помещиков, если они не опомнятся, если они не перестанут обманывать детей своих, —

Що вони на світі
На те тільки, щоб панувать, —
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко-глибоко...
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засудять, — і премудрих
Немудрі одурять.

Что они на свете существуют для того лишь, чтобы господствовать, ибо неученый глаз глубоко-глубоко заглянет им в самую душу... Узнают бедняки, чья на вас шкура, и засудят — и премудрых немудрые одурачат.

Многим не нравится этот суд „неученого глаза", угрожающего ученым господам. Однако Шевченко интуитивно правильно смотрел на классовые отношения своего времени, он видел классовую природу панства даже сквозь завесу великих слов и свободомыслия, и предвещал ему суд и кару со стороны своих немудрых селюков.

Но в этом сочинении („До живих і мертвих") Шевченко остается еще утопистом в своем отношении к помещикам. Он, как некогда социалисты-утописты, обращается к ним с проповедью: „Сбросьте оковы, братайтесь... Обнимите же, мои братья, своего меньшего брата... И умытых поцелуйте вольными устами". Тогда и „хорошая слава Украины" оживет.

Но надежды на то, что пан обнимется с мужиком в счастии свободы, никогда не были прочны в бунтарской душе Тараса. Уже в стихотворении „Три літа", написанном

через пять дней после „Послания“, Шевченко описывает, как он постепенно рвал с людьми, его окружавшими, его приветствовавшими, смотревшими на него как на светильник небесный. Этот кратковременный медовый месяц союза Шевченка с образованными либеральными помещиками кончился тем, что „годы тихо крались“,

І я прозрівати
Став потроху... доглядаюсь, —
Бодай не казати!
Кругом мене, де не гляну,
Не люди, а змії...

И я понемногу стал прозревать... осматриваюсь — лучше и не говорить! Вокруг меня, куда ни посмотрю, не люди, а гады.

Так отходил поэт от помещичьего общества, которое он позднее называл „капустой головатою“; заявив им, что „я сердцем к вам не вернусь“, он заканчивает свои „Три літа“ приветствием новому году с напутствием ему „поклониться бедности“.

Служить нищете, бедным людям, трудящимся рукам, немым рабам, бесславным смердам — такова нерушимая цель крепостного поэта.

Впоследствии, уже в ссылке, в воспоминаниях Шевченка о своих земляках-помещиках осталось одно отвращение. В 1848 году он в следующих строках вспоминал одного из этих „просвещенных христиан“:

І досі нудно, як згадаю
Готическький з часами дом,
Село обідране кругом,
І шапочку мужик знімає,
Як флаг побачить: значить пан
У себе з причетом гуляє.
Оцей годований кабан,
Оце ледащо — щирий пан,
Потомок гетьмана дурного
І презавзятий патріот,
Та й християнин ще до того.
У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить між панами,
І п'є горілку з мужиками,
І вольнодумствує в шинку...

До сих пор тошно, когда вспомню готический с часами дом, село ободранное вокруг, и шапочку мужик снимает, завидев флаг: значит, пан гуляет у себя со свитой. Этот откормленный боров, праздный пан, потомок глупого гетмана и презавзятый п а т р и о т, да и христианин к тому же. В Киев ездит он каждый год, в свитке ходит между панами и пьет водку с мужиками, и вольнодумствует в кабаке.

Собственно, Шевченково „Послание“ является почти единственной попыткой проповеди мужиколюбия среди поме-

щиков. В дальнейшем он уже никаких надежд на них не возлагает, даже и на „просвещенных“ господ помещиков. У него остается к ним лишь ненависть, призывы к мести, к борьбе против этих угнетателей бедных людей-сеятелей. Когда он говорит о помещиках, то у него нет для них других эпитетов кроме как „разбойники ненасытные“, „препоганые паны лукавые“ или же

Раби з кокардою на лобі,
Лакеї в золотій оздобі,
Онуча, сміття з помела
Його величества... та й годі.

Рабы с кокардою на лбу, лакеи в золотом одеянии, онучи (портянки), сор с помела его величества... и больше ничего!

Но один „просвещенный“ кружок имел весьма важное значение в жизни Шевченка, с ним поэта связывали как будто и более тесные узы, — это был кружок либеральных помещиков-славянофилов и нарождающейся буржуазии, из-за которого Шевченко пошел в ссылку, на десяток лет солдатской неволи. Этот кружок под именем „Кирилло-мефодиевского братства“ занимает серьезное место в истории украинского общественного движения, и потому он заслуживает того, чтобы на его идеологии, на его общественной роли, на взаимоотношении его с Шевченком и на выяснении влияния на поэта славянофильских идей остановиться особо.

V. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ БРАТЧИКИ

Во время пребывания Шевченка на Украине и в Киеве в 1845—1847 годах там, по свидетельству историков, в воздухе носились славянофильские идеи. Костомаров, впоследствии вспоминая об этом времени, говорил, что „идея славянского союза была в пеленках, но зато представлялась она такой свежей, какой потом уже никогда не была“ [1]. Действительно, к этому времени относится расцвет славянофильства, связанного с „национальным

[1] Конiський, „Шевченко пiдчас вищого розцвiту його кебети“.

возрождением“ австрийских славян, которое сосредоточивалось по преимуществу в Чехии, где имело и своих лучших идеологических представителей (Шафарик, Палацкий). Это славянофильство распространяло свое влияние и далее на восток, как видим, и на Киев (и на Петербург), отражаясь, с теми или другими изменениями, в сознании его представителей в зависимости от тех или других отличий его социально-экономических оснований.

На эту „свежую идею“, носившуюся в „интеллигентском“ воздухе Киева, не мог не откликнуться и Шевченко, раз ему приходилось дышать этим воздухом; эта идея после и вдохновила поэта написать поэму „Еретик, або Іван Гус“, созданную именно в это время, в 1845 году. Этими же причинами и объясняется создание Кирилло-мефодиевского братства.

Что представляла собой эта идея славянского союза с точки зрения социально-экономической? Какую общественную почву имела она под собой?

Ответ на этот вопрос дает давний Drang nach Osten немцев, которые в своем натиске на Восток и в стремлении к германизации славянства были представителями более высокой — торгово-промышленной, капиталистической культуры против ниже стоящей феодально-земледельческой культуры славянства. В процессе своего торгового и промышленного развития, в создании и расширении своего национального рынка немцы столкнулись на Востоке с отсталыми экономически и культурно славянскими народами, которые самостоятельно не создали изнутри зачатков нового капиталистического хозяйства и поэтому становились объектом немецкой капиталистической колонизации.

На этом развитии отношений германизма и славянства останавливались Маркс и Энгельс в ряде работ и статей, в том числе и в известной книге „Революция и контрреволюция в Германии“. Там мы читаем: „Славяне, в особенности западные, — поляки и чехи, — это преимущественно земледельцы; торговля и промышленность никогда не имели у них особенного значения. Благодаря этому с возрастанием населения и возникновением городов произ-

водство всей промышленной продукции попало в этих странах в руки немецких иммигрантов, а обмен промышленных продуктов на земледельческие сделался исключительной монополией евреев, которые, если они вообще принадлежат к какой-либо национальности, в этих странах являются скорей немцами, чем славянами. Так оно было, за немногими исключениями, и на всем востоке Европы. В Петербурге, Пеште, Яссах и даже Константинополе ремесленником, мелким торговцем, фабрикантом до сего дня (1852 г.— *А. Р.*) оказывается немец; напротив, кредитор, кабатчик, разносчик,— очень важная персона в этих странах с редким населением,— почти без исключений — еврей, родным языком которого является ужасно испорченный немецкий язык. Влияние этих немецких элементов в пограничных славянских областях, выраставшее с ростом городов, торговли и промышленности, еще больше усилилось, когда выяснилась необходимость ввозить из Германии почти всякий элемент духовной культуры"... Так шло онемечение Западной Пруссии и Познани; „в этих странах немецким колонистам продавали или дарили земли из государственных имуществ, немецким капиталистам оказывали вспомоществование при устройстве фабрик и т. д."[1].

Это наступление немецкого капитализма на феодальное славянство не останавливалось на Чехии и Польше. Через последнюю оно доходило и до Украины. Исследователь немецкого права в Польше и Литве удостоверяет, что и в Галицкой Украине „немецкое население главным образом сосредоточивалось в городах, занимаясь торговлей и ремеслами, между тем как помещики и земледельцы всегда оставались при своей народности" [2]. Но немецкие пришельцы-колонисты не оставляли в покое и феодальных панов. Благодаря своему более высокому экономическому развитию они „разбогатели за счет своих господ и покупали у них поместья за их же собственные деньги; это было важной причиной полного онемечения Силезии и

[1] Перевод И. Степанова, Москва, 1922, стр. 45—46.

[2] Владимирский-Буданов, „Німецьке право в Польщі й Литві", изд. Наук. т-ва ім. Шевченка, т. XXIII, стр. 108.

Лужицы"... Оттесняя разными способами („хитростью") славянских панов, немцы-колонисты занимали их место. „Так обмануты были и чехи, изгнанные немцами из своих имений" [1].

Характер этой немецкой колонизационной волны довольно ярко отразился в таком свидетельстве неизвестного поэта-современника: „Немцы стараются всюду, куда ни приходят, быть первыми и никому не поддаваться" [2].

Вполне понятно, какую ненависть должны были вызывать к себе немцы (а также и евреи) среди славянских народностей, причем этот натиск в немецком виде нового буржуазного общества на старое, феодальное наталкивался на сопротивление последнего со стороны всех его общественных элементов. Паны-помещики ненавидели немцев, ибо они вырывали почву из-под их экономического господства и разоряли их. Для крестьян немцы (а особенно евреи) несли новые формы эксплоатации (ростовщичество, аренда). Это и создало то „нелепое антиисторическое движение" (Маркс—Энгельс), которое выносило идею славянского союза как средство отстоять перед натиском немецкого капитализма и свое славянство и свой феодализм. Будучи само общественно-реакционным явлением, западное славянофильство и ориентировалось на реакционную силу в Европе, на русское царство, а в революции 1848 года западное славянство всей своей массой выступало в силу этого против революционной буржуазии, на стороне феодализма и абсолютизма, играя контрреволюционную роль; славянисты „предавали дело революции из-за призрака национальности, которую в лучшем случае ожидала бы судьба польской национальности под русским господством" (Маркс—Энгельс).

Этому западному славянофильству, в центре которого

---

[1] Владимирский-Буданов, указ. соч., стр. 59.

[2] Ad hoc traxit me natura,
Quae est Almanorum cura:
Ut quocunque veniunt,
Semper volunt primi esse
Et nulli prorsus subesse.

стояла Чехия, вполне соответствовало и русское славянофильство, которое не прочь было под славянофильским флагом присоединить к своей империи несколько десятков миллионов западных славян. Почва для немцефобии и славянизма была и у угнетенных Россией народов, например у поляков (в слабой степени) и украинцев. Движение из Праги находило отзвуки и здесь. Галицкие украинцы (русины, рутенцы) принимали участие в 1848 году и в славянском конгрессе в качестве депутатов и в качестве улан в армии Виндишгреца, задушившего революцию. На Украине поднепровской пришлось несколько видоизменить славянистские идеи. Драгоманов справедливо отмечает, что „украинский панславизм был не совсем то же, что московский, так как позади него была казатчина, а не московское царство, а под ним покоренная Украина, а не „сверкающая стальной щетиной империя“ [1]. Однако как западноевропейский, так и украинский панславизм имел одинаковую общественную основу: он был идеологией образованных помещиков и немощных зачатков национальной буржуазии, хотя и имел под собою также протестантские настроения крестьянства против проникавших в крепостнический строй капиталистических элементов, прибавлявших к гнету крепостного права еще и гнет капиталистических отношений. Выражение этого протеста находим и у Шевченка: „степи мої запродані жидові, німоті...“ („мои [Украины] степи запроданы еврейству, немоте“). Поэтому в общем панславизм не мог быть революционным фактором, хотя на Украине (Кирилло-мефодиевское братство) он и выдвигал радикальную и далеко идущую для своего времени республиканскую программу.

Отличие украинского славянизма заключалось в том, что ему невозможно было удержаться на одной лишь немцефобской и юдофобской позиции. Он связан был с украинизмом, а Украина угнетена была не иноверными и инородными немцами, а такой же славянской страной,

---

[1] Драгоманов, „Шевченко, українофіли й соціялізм“.

Россией. Кроме того разнузданная реакция николаевского режима отталкивала от него даже значительные слои дворянства, затронутые уже веянием буржуазного либерализма. Украинофильство украинских панов базировалось на „народности“, а ее носителем был по преимуществу крепостной мужик. Отсюда — народолюбие, как подоснова филантропического подхода в освободительных построениях образованных помещиков. Украинские славянисты не могли просто выдвинуть формулу славянского союза под скипетром российского императора, ибо их политические идеалы исходили из идеализации казацкого „братства“ и „вольностей“, а империя задушила казацкую Украину; дворянство же в подавляющем большинстве было опорой именно царской России.

Вся эта сумма обстоятельств в конце концов определила противоцарскую и противопанскую позицию братчиков, опиравшуюся на простой народ и обосновывавшуюся идеологией первобытного христианства, которая у братчиков доходила почти до христианского коммунизма. Эта идеология кирилло-мефодиевцев ярко выражена в сочинении, авторство которого принадлежит Костомарову, хотя на следствии он это и отрицал. Во всяком случае сочинение это отражало настроения основателей братства — Костомарова, Белозерского, Гулака в 1846–1847 годах. Это — „Книги бытия украинского народа“. Это сочинение выявляет гораздо более революционную идеологию Кирилло-мефодиевского братства, чем его социальная сущность и его программа действий, что можно объяснить необходимостью включения „народности“ в идеологические построения, а в основе этой народности стоял мужик.

Народолюбивая позиция обосновывается в этих „Книгах бытия...“ тем, что и Христос „набрал учеников не из господского рода, не из ученых философов, а из простых рыбаков“ (§ 24). „И жили христиане братством, все у них было общественное, были у них избранные старшины“ и т. д. Но против такого „братства“ восстали императоры, князья, господа, философы, — они и разрушили христианство, хитростью брали его, обманывая народ, принимая

веру и оставляя царей, королей, князей, господ. За это греки наказаны были турецкой неволей...

Есть в этом сочинении выпад и против французской революции, отступившей от христианского учения и выдумавшей нового бога — интерес, и потому Франция не знает истинной свободы. Да и вообще „нет свободы без христовой веры“ (§ 53). Затем такое христово братство возродилось в украинском казачестве, но паны испугались, что их крепостные перейдут в казаки, „и хотели убить простой народ, как скотину“. Но „казачество поднялось, а за ним весь простой народ; побили и изгнали панов, и стала Украина землей казацкой, вольной, где были все равны и свободны, но ненадолго“ (§ 81), так как попала Украина в неволю царской России, не зная, что „царь московский был все равно, что идол и мучитель“ (§ 84).

„А немка царица Екатерина, всесветная курва, безбожница, убийца своего мужа, вконец доконала казачество и свободу“ (§ 90).

Итак, здесь мы видим много своеобразно и примитивно-радикальных мыслей, но радикальность эта имеет под собой довольно ретроградную основу, — она отмежевывается от общественного процесса, от революций, от Европы, она замкнулась в славянстве и христианстве, а все, что вне этого, то от лукавого, который обычно появляется в образе немца. Некоторые историки школы Яворского в лице кирилло-мефодиевцев видят революционную мелкую буржуазию, а в их идеологии и в частности в выпаде против результатов французской революции усматривают идеологию утопического социализма. Но уже сама схема исторического развития опровергает подобные концепции.

Социалисты-утописты были предшественниками новейшего научного социализма и в своих утопиях гениально предвосхищали будущее, а кирилло-мефодиевцы были предшественниками новейшей буржуазии и в своих освободительных и реформаторских стремлениях вдохновлялись романтическим обращением своих взглядов назад, в историческое прошлое. Французская буржуазия подготовляла

свою великую революцию через атеизм и материализм, а Кирилло-мефодиевское братство подготовляло свою реформацию (а не революцию, о чем еще будет речь впереди), призывая своих „братьев поляков и великороссиян" в специальном к ним воззвании: „Изгоните из умов ваших дух неверия, занесенный от племен немецких и романских", а Белозерский на допросе говорил, что с целью соединить славян „должно отдалять влияние чужеземных идей, исполненных космополитизма и противных славянским чувствам". Точно так же и Костомаров выступал впоследствии против „модных прогрессистов, которым кажется удобным навязать народу материализм" [1]. К этому необходимо прибавить, как представлял Белозерский миссию славян, что весьма характерно для славянофильства и его общественной роли. По его мнению, „как и прежде, задачей их (славян) было распространение мирной земледельческой цивилизации... как прежде она (эта цивилизация) смягчала нравы воинственных народов, так и теперь смягчит раздраженные бедствиями души народов разрешением социальных задач, возвращением блага, указанного спасителем" [2].

В общем все эти цитаты характеризуют полную идеологическую ретроградность основоположников Кирилло-мефодиевского братства. Их вражда к чужеземным идеям, к материализму, к неверию, их христианская елейность, идеализация земледельческой цивилизации представляет их лишь как лучших среди феодального панства представителей либеральных помещиков и нарождающейся новейшей буржуазии, не отпочковавшейся еще от помещичьего класса, непоследовательной и нерешительной в своей освободительной деятельности, а в своем славянофильстве отразившей феодальную замкнутость своей идеологии.

Политическая программа братства гораздо более радикальна и вполне уже буржуазна, хотя и она опирается на принципы веры христовой и славянства, правда, в демократической трактовке. Эту программу можно свести

---

[1] Драгоманов, „Шевченко, українофіли й соціялізм".

[2] Матеріяли до історії Кирило-мєтодіївського братства. Вид. Укр. наук. т-ва. Разрядка моя.—*А. Р.*

таким пунктам: 1) славянская федерация с автономией самобытностью отдельных племен („нераздельно и нешанно“); 2) республиканское народное правление; 3) славянский собор как верховный орган власти, созыемый раз в 4 года и состоящий из двух палат: перая — из министров и сенаторов, вторая — из народных редставителей; 4) высшая власть принадлежит избираему на 4 года правителю и двум министрам — внутренних и иностранных дел; 5) равноправие граждан на снове христианской религии, свобода и равноправие ригий; 6) отмена крепостного права, смертной казни и елесных наказаний, сословных различий. Братство треует от своих членов „всеми средствами подрывать нераведливые права аристократии“.

Такова программа. В ней есть и радикализм и демократизм, но когда ставился вопрос о способах проведения ее в жизнь, то здесь братчики определенно выявляли себя как представителей господствующих классов, их тактика, вполне согласная с их идеологией, сводила нулю всю эту радикальную политическую программу, ибо отрицала в с я к у ю революцию, в с я к у ю борьбу против ществующего строя. Тактика братства состояла в том, тобы „избегать насильственных мер, а когда придет ра — противопоставить насилию силу мысли, силу сплоенного народа“ (Костомаров) [1]. Еще отчетливее об этом ворит Белозерский в своей записке: „Нужно стараться, тобы... достижение равенства... совершалось в духе кротости и миролюбия“.

Соответственно с этим и девятое правило братства танавливает: „Как все общество в совокупности, так каждый член должен свои действия соображать с ангельскими правилами любви, кротости и терпения“ [2]. елейная тактика в „Книгах бытия украинского народа“ получила и свою религиозную формулировку: „Христос не хотел, — говорится там, — чтобы были бунты и

[1] В. И. Семевский, „Кирилло-мефодиевское общество 1846—1847 гг.“, 34.
[2] Там же, стр. 29.

несогласия, а хотел, чтобы мирно и любезно распро
странились вера и свобода". А Кулиш требовал полно
аполитичности от своих приятелей. Он писал им: „Бросьт
политику. Само собою настанет время, когда от вашего
слова упадут стены иерихонские".

Все это, вместе взятое, показывает нам Кирилло-мефо
диевское общество не как революционную организацию
даже не как общественно-политическую, а просто ка
кружок ученых мечтателей, недовольных современны
строем, но лишенных всякой активности против него
Всегда представители высших классов, приходя к выводу
о необходимости изменения общественного строя, хоте
ли бы, чтобы это произошло само собою, „мирно
любезно". Конечно, с такой программой действий брат
ство вообще не могло существовать как определенна
оформленная организация. И шеф III Отделения граф
Орлов с жандармской дальновидностью, хотя и с не
которым преуменьшением роли братства, правильно
общем констатировал в докладе царю Николаю I, чт
„Украино-славянское общество св. Кирилла и Мефоди
было не более как ученый бред трех молодых людей"
К этому выводу привело его следствие над братчикам
где разлетелся прахом даже тот их радикализм, которы
выявлялся в противоцарской позиции и в республикан
ском устройстве их славянского союза. Такие корифе
украинизма и славянизма, как Костомаров и Кулиш
на следствии старались доказать свою любовь к „обще
матери" России и к царской власти и т. д., а самую
славянскую республику свели к союзу под протекторато
российского императора. При этом это делалось не дл
обмана жандармов — их заявления были искренни, иб
такими, как на допросах, остались они и после отбы
тия наказания. Арест поставил их на свое место. О
показал этим ученым братчикам, что они далеко зашл
в своем „ученом бреду".

В результате следствия над кирилло-мефодиевцам
Шевченко получил несравненно более тяжелое наказани
чем его приятели, несмотря на недоказанность его участ

в братстве. Историки до сих пор бьются над вопросом, входил ли Шевченко в братство или не входил. Для нас не имеет особенного значения эта формальная сторона дела, ибо формально вряд ли существовало и само братство как четкая организация. Нам важно выяснить идеологическую сущность отношения Шевченка к братчикам и к их взглядам. Это выяснение раскроет и разницу в наказаниях и причину тяжелой кары для Шевченка.

Кирилло-мефодиевские братчики, как мы видели, мечтали о просвещении народа путем помещичьих школ, надеялись через просвещенных и гуманных помещиков примириться с „меньшим братом“. А Шевченко со своей мужичьей точки зрения уже в 1845 году развенчал всех этих панов, и славянофильствующих и вольнодумствующих. Братчики проповедывали непротивление, стояли на антиреволюционной позиции „кротости и миролюбия“, хотели без насилия, одними только идеями исправлять общество. Шевченко же еще в 1841 году опоэтизировал кровавую расправу казацко-селянских масс („гайдамаки“) над шляхтою. От его воспевания гайдамацкой резни „ляхов-панов“ у господ гуманистов волосы становились дыбом. Уже по поводу „Гайдамаков“ Шевченко резко разошелся с ними. Издеваясь над „отечеством“ своих земляков, верноподданных царской империи, он возмущается, что эта „баранья натура“ (очень метко для панского гуманизма) „еще и Гонту унижает, негодное безделье: „гайдамаки — не воины, — разбойники, воры, пятно в нашей истории“! (трактовка Кулиша такая же). „Врешь, людоед!“ — отвечает им поэт и бросает своим панам обвинения обратно: „Вы — разбойники ненасытные“.

Потомок гайдамацкий и поэт мужицкий, описывая реки крови, насилие, рев пушек, стоны земли от гайдамацкого восстания против шляхты, так относится к ней и ее владыкам, царям и королям:

Утопить Всіх цариків би стало, З дітьми й внучатами, втопить В сльозах удових...	Хватило бы вдовьих слез, чтоб утопить всех царьков с детьми и внучатами.

Еще в Петербурге в 1844 году Шевченко написал „Сон“, жестокую сатиру на царско-централистический строй, неизменно проповедывая бунт против всего этого строя царско-помещичьего произвола.

Если теперь допустить возможность более широкого общественного движения на основе программы Кирилло-мефодиевского братства, то Тарасу вместе с некоторыми братчиками, представлявшими левое крыло в братстве, неизбежно должна была принадлежать роль плебейской революционной оппозиции в этом движении. Правда, в идеологии братства, в его политической системе Шевченко мог найти много созвучных себе мотивов — противоцарских и противопанских — в „Книгах бытия...“, элементов христианского коммунизма, народоправства. Но по самой социальной природе своей он вкладывал в них революционное содержание и должен был тянуть братство в борьбу и в политику, которых оно так чуждалось. О таком именно характере взаимоотношений Шевченка и кирилло-мефодиевцев свидетельствует и Костомаров, который говорит: „Когда я сообщил Шевченку о существовании общества, он тотчас изъявил готовность пристать к нему, но отнесся к его идеям с большим задором и крайнею нетерпимостью, что послужило поводом ко многим спорам между мною и Шевченком“ [1]. Об этой нетерпимости Шевченка показывал на допросе и Андрузский, заявляя, что Шевченко называл монархистов подлецами, в чем нет ничего невозможного, если вспомнить его ненависть против „разбойников-помещиков“ и царей „палачей-людоедов“. Но для братчиков это было уже чересчур. Им даже слушать такие вещи было „страшно“.

После этого совершенно ясным и понятным станет указание, что кирилло-мефодиевцы „держали Шевченка в некотором отдалении от братства..., сдерживая его горячее бунтарство“. И наказание солдатской каторгой с

---

[1] В. Семевский, „Кирилло-мефодиевское общество“, стр. 32. Разрядка моя.—*А. Р.*

запрещением писать и рисовать он понес не столько за славянизм и за братство, сколько за „возмутительные стихотворения“ против всех основ абсолютизма и крепостничества. Конечно, и Шевченко не мог оставаться вне духа времени, „свежая идея“ славянского союза коснулась и его. Но Шевченково славянофильство, в противоположность костомаровскому, имело отчетливо социальный характер и направлено было не только против немцев, но и против славянских командующих классов. Он и в славянофильство вносил революционное содержание. Еще за несколько лет до создания братства и до знакомства с Костомаровым Шевченко думал о славянстве. Он писал в „Гайдамаках“: „Болит сердце, когда вспомню: старых славян дети упились кровью. А кто виноват? Ксендзы, иезуиты“.

Позднее, в 1847 году („Ляхам“) Шевченко еще определеннее подчеркнул классовых виновников польско-украинской борьбы: „Вот так-то, мой друг и брат поляк, ненасытные ксендзы, магнаты нас разъединили, развели“.

Как и другие панслависты, против натиска на славянские земледельческие народы немецкой промышленной колонизации Шевченко еще в 1841 году выдвигал лозунг объединения славянства: „Да останется неразмежеванной навеки, как золотом, покрытая рожью, пшеницею, от моря и до моря славянская земля“ [1]. Таким образом и здесь сказывается психика земледельца. Но и в славянстве искал он освободительные, революционные страницы борьбы против князей, господ, против „откормленного монаха“ — римского папы. Поэтому и его славянская поэма свою тему взяла из революционной эпохи чешской истории, из гуситского и таборитского движения („Еретик, або Іван Гус“).

Здесь, с одной стороны, такие вдохновленные революционностью, хотя и не без религиозной образности, строки:

---

[1] Предисловие к „Гайдамакам“.

Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить,
А на апостольськім престолі
Чернець годований сидить,
Людською кровію торгує
І рай у найми оддає...
...Розбійники, людоїди
Правду побороли...
...Люди стогнуть у кайданах,
Немає з ким взятись,
Розкуватись,— одностайне,
Односердне стати
За євангеліє правди,
За темнії люди,—

Кругом неправда и неволя, народ замученный молчит, а на апостольском престоле монах откормленный сидит, людскою кровью торгует и рай в аренду отдает... Разбойники, людоеды правду побороли... Люди в цепях стонут, не с кем взяться, расковаться, — восстать единодушно за евангелие правды, за темный народ, —

а с другой стороны — узкая ограниченность, немцефобия, видящая причину зла в немцах; „так зажгла немота великую хату и семью славян разъединила“, — говорит поэт, мечтая в то время, чтобы все славяне стали добрыми братьями, и прославляя Шафарика за то, „что свел в одно море славянские реки“.

В этих строках, сопоставленных рядом, сразу видна у Шевченка присущая крестьянству двойственность его социальной природы, одним концом — революционной, другим концом — реакционной.

К этой подоснове мужицкой философии мы еще возвратимся. Здесь же необходимо подчеркнуть характерное явление в отношении славянских идей. Откликнувшись на них в эпоху 1841–1845 годов, Шевченко больше никогда уже к ним не возвращался. „Свежая идея“ завяла, и не только в Шевченковой поэзии, но и в жизни славянских народов. Она сверкнула в предреволюционную эпоху (1848 г.), как безнадежная попытка феодально-земледельческих народов отгородиться от капитализма и буржуазии. Славянизм и помог старым силам задушить революцию, но капитализм задушить они были бессильны. Он протиснулся и в славянские земли, разлагая их народные массы, создавая в них новые классы капиталистического общества, ставя их друг против друга, делая невозможной для славянских народов старую панславист-

скую реакционную позицию, сплошной массой переводя эти народы на новую ступень общественного движения — в эпоху, когда „свежей идеей“ становится буржуазная демократия. Даже в российском царстве капитализм сделал первые шаги. И на них откликался и Шевченко, но тоже на более высоком уже этапе своего социального сознания — после ссылки.

VI. МУЖИЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Естественно, что основные элементы своего мировоззрения Шевченко вынес из крестьянства, из недр которого и сам вышел. Правда, возвышаясь над общим уровнем сознания своего общественного слоя, он и мировоззрение свое раздвигал, но все же он стоял прочно на мужицкой почве. От задушенной царским гнетом Украины, от воспоминаний „столетнего деда“ — закрепощенного крестьянства — о прежней „казацкой воле“ Шевченко получил свой национализм и украинский патриотизм. Уже в этом патриотизме мужик-Шевченко противостоял панскому патриотизму, соединявшему приверженность к „престолу“, „отечеству“ с этнографическими занятиями украинских панов.

Своим пламенным культом угнетенной Украины, которая, „оборванная, сиротой плачет над Днепром“, своей страстной любовью к ней („я так ее, я так люблю мою бедную Украину“) Шевченко пришел в резкое противоречие с панской „благодарной любовью к общему отечеству“ — к царской России. Такие обращения его к Украине, как: „тихий свет, милый край, моя Украина“, или же: „Украина, Украина, мать моя родная“, как и вся его поэзия, — все это дает почву для позднейшего буржуазного национализма, если брать этот национализм Шевченка отдельно от его эпохи и его социальной основы — угнетенного крепостного крестьянства. Само собой разумеется, что эта революционная для своего времени основа нисколько не опровергает узости, ограниченности, замкнутости этого национализма. Такие черты, как на-

циональная исключительность, замкнутость и враждебность ко всему чужому, вообще свойственны крестьянскому кругозору, созданному на основе экономической ограниченности и замкнутости крестьянского мелкособственнического хозяйства. С таким кругозором крестьянин смотрел на всяких иностранцев как на поганых нехристей, вообще врагов, а тем более когда они несут крестьянству эксплоатацию и порабощение.

Национальная ограниченность проявляется у Шевченка довольно ярко. Его послание к землякам дает такие образцы мужицкой мудрости:

У чужому краю Не шукайте, не питайте Того, що немає І на небі, а не тільки На чужому полі... В своїй хаті — своя правда, І сила, і воля. Нема на світі України, Немає другого Дніпра; А ви претеся на чужину Шукати доброго добра, Добра святого, волі, волі, Братерства братнього...	В чужой стране не ищите, не спрашивайте того, чего нет и на небе, а не только на чужом поле... В своей хате — своя правда, и сила, и воля. Нет на свете Украины, нет другого Днепра, а вы претесь на чужбину искать хорошего добра, добра святого, свободы, братства.

Вот это „в своей хате — своя правда, и сила, и воля“ вмещает в себе всю суть мужицкой мудрости, философии, ограниченной частоколом, отгораживающим от всего мира крестьянскую „хатку в саду“ и „вишневый садик возле хаты“. Мужик-хозяин не любит „искать хорошего добра“ вне этого частокола. Поэтому он пренебрежительно относится к барчукам, стремящимся на чужбину.

Ясное дело, что следом за национальной обособленностью идет враждебное отношение к иноземцам, проникающим внутрь этого частокола. Крестьянин сталкивается с этими иноземцами то в виде москалей — оккупационных войск с их постоями, с их поборами, рекрутскими наборами, то в виде ляхов-поляков, то евреев-арендаторов, кабатчиков и ростовщиков, то в виде немцев-

колонистов и промышленников. Все эти социальные элементы с разных сторон напирают на крестьянское хозяйство, эксплоатируют мужика, и свою классовую вражду к ним он переносит огульно на целые чужие национальности.

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люди,
Роблять лихо з вами, —

Любитесь, чернобровые, только не с москалями, ибо москали — чужие люди, несут вам несчастье, —

так начинает Шевченко свою поэму „Катерина". Характерно, что в этой поэме москаль, которого полюбила Катерина, в конце поэмы неожиданно превращается в пана, едущего в Киев в карете, запряженной шестеркой лошадей. Здесь мужицкая психология не выдержала у Шевченка, — она должна была подвести под москаля классово враждебную социальную основу. Эта москалефобия переходит у Шевченка в глумление, когда он встречает своих земляков „с цинковыми пуговицами", которые „по-московски так и чешут", да еще „и родителей своих ругают за то, что с детства их не учили болтать по-немецки", и Шевченко мастерски вкладывает в уста этих земляков такой русский язык, который в их устах является пародией и издевательством над настоящим русским языком.

Мужик в Шевченке несколько иронически относится ко всему, что выходит за пределы его идеологической околицы, к чужой мудрости, ко всему тому, что идет против издревле установленных истин о боге, об аде, о рае. Он и земляков своих упрекает:

Як би ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя;
А то залізете на небо:
І ми — не ми, і я — не я.
І все те бачив, все те знаю:
Немає пекла, а ні раю,
Немає й бога, тільки я
Та куций німець узловатий,
А більш нічого...

Если бы вы учились так, как нужно, то и мудрость бы была своя; а то залезете на небо: и мы — не мы, и я — не я. И все-то видел, все-то знаю: нет и ада, нет и рая, нет и бога, только я да куцый немец, хитроватый, больше ничего...

Таким образом, за всем тем, что от лукавого, обычно стоит немец. Недаром у Гоголя в одном из рассказов

„Вечера на хуторе близ Диканьки“ чорт оказывается похожим на немца. Нехристь-немец в крестьянском сознании водится с чортом, так как он орудует разными хитрыми машинами, он экономически и культурно стоит выше славянского мужика докапиталистических времен. А для этого последнего все непонятное ему — либо от бога, либо от чорта.

Общеславянская немцефобия как продукт исторического развития глубоко сидит и в голове Шевченка. Эта немцефобия в известной мере связана у него с славянизмом, но выражена значительно рельефнее и резче, чем славянистские идеи. Да это вполне ясно. Немцефобией выражался деструктивный, разрушительный элемент крестьянской социальной психики. Славянизм же стремился дать какую-то конструктивную систему, какую-то положительную программу. Крестьянство, как известно, является прекрасной разрушительной силой в общественном движении, но не имеет положительной программы общественного переустройства, которую оно получает лишь в союзе с организованным городским классом и под руководством последнего; в эпоху буржуазных революций это руководство осуществляет буржуазия, в эпоху пролетарских революций — пролетариат. Это в общем выявляется и в „Кобзаре“. Элемент критики, бунта, протеста, резкого осуждения социальной кривды выражен в них чрезвычайно ярко. Элементы положительной программы общественного переустройства намечены весьма неопределенно. Так и немцефобия, как отрицательная сторона славянизма, густо посеянная на поэтической ниве Тарасовой, иллюстрируется вполне конкретными явлениями и фактами, между тем как славянизм в своих построениях лишь промелькнул в поэзии Шевченка.

Между прочим необходимо отметить, что Шевченко, стоя обеими ногами на базе крестьянского сознания, в то же время и возвышается над ним. Поэтому и его отрицание всего чужого и его немцефобия не имеют того огульного характера, как у крестьянской массы. Он рекомендует — „и чужому учитесь“, говорит, что „нужно будет

и на чужих людей посмотреть", и среди немцев он видит прекрасных людей. В своей повести „Артист" он говорит: „Вы, вероятно, замечаете, что все мои знакомые — немцы, но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев". Очень интересен тон этой фразы, в общем не опровергающий, а скорее даже подтверждающий общую немцефобию поэта. Он как будто говорит устами мужика: мол, хоть и немец, но хороший человек.

Послание к землякам особенно нападает на них за то, что они стремятся „солнца правды дозревать в немецкие земли". „Немота" у Шевченка всегда враг Украины („степи мои запроданы еврейству, немоте"), враг славянства („так немота зажгла великую хату и семью славян разъединила..., а немчики пожарище и сирот поделили"). Он грустит, что „и на Сечи мудрый немец картофель сажает", он немцев противопоставляет людям, считает слово „немец" ругательным. „На Украину я не надеюсь, там нет людей, немцы проклятые, и больше ничего", — так писал Шевченко своему приятелю Кухаренко 24 марта 1844 года. Шафарика он прославляет за то, „что не дал ты потонуть в немецкой пучине нашей правде".

С мужицкой точки зрения Шевченко отрицательно относится к подражанию чужой, опять-таки немецкой, культуре, он видит в этом лишь стремление господствующих классов прикрыть свое угнетательство.

Гірше ляха свої діти
її розпинають;
Замість пива — праведную
Кров із ребер точать, —
Просвітити, бачиш, хочуть
Материнські очі
Современними огнями,
Повести за віком,
За німцями недоріку,
Сліпую каліку.

Хуже ляха свои дети ее (Украину) распинают; вместо пива праведную кровь из ребер точат, — видишь ли, хотят просветить материнские очи современными огнями, повести за веком, за немцами косноязычную, слепую калеку.

Москалефобия и немцефобия часто у Шевченка стоят рядом, причем выступают они не только в виде исто-

рической славянской идеологии мужика, но и как протест того же мужика против современного ему строя крепостнического, бюрократического абсолютизма. И в основе немцефобии Шевченка в значительной степени лежит его ненависть к царской высшей бюрократии, которую абсолютизм усиленно комплектовал из остзейских немецких баронов. И о земляках своих из петербургской бюрократии Шевченко презрительно пишет, что они „чернилом залиты, московскою беленою в немецких петлицах замучены". Даже более того: в духе славянофильской концепции о том, что Россия сошла со своего самобытного славянского пути и поддалась немцам, Шевченко также трактует эту тему вслед за „Книгами бытия украинского народа", наиболее порочившими „немку царицу Екатерину". Его „третья ворона", злой дух России („Великий льох") так говорит о своей работе (на русском языке):

„И я-таки пожила:
С татарами помутила,
С Мучителем покутила,
С Петрухою попила,
Да все немцам продала".

На это „первая ворона" (злой дух Украины) отвечает: „Да и ты хорошо натворила: так кацапов закрепила в немецкие цепи, хоть ложись и засыпай".

Такое объяснение немецким засилием несоответственного „славянскому духу" поведения России относительно угнетенных ею славянских народов необходимо было украинским славянистам, чтобы хоть как-нибудь удержать шаткую позицию славянского союза. За ними шел в этом отношении и Тарас Григорьевич, разоблачая и обличая своих земляков-помещиков за службу „престолу, отечеству и немоте".

Правда, со своим активным национализмом, видевшим в москале ближайшего врага, Шевченко не мог удержаться на одной лишь немоте как на причине угнетения славян (Украина) славянами же (Россия). Его „первая ворона" в упомянутом произведении, похвалившись

тем, что „уже и Сечь их бесноватая немотою поросла“, добавляет:

„Та й москаль — незгірша штука:
Добре вміє гріти руки.
І я люта, а все-таки
Того не зумію,
Що москалі в Україні
З козаками діють“.

„Да и москаль — хорошая штука: как следует умеет погреть руки. И я злая, а все-таки того не сумею, что москали в Украине делают с казаками“.

Вот эта основа мировоззрения Шевченка, которую составляет для него украинский национализм, хоть и опирающийся на революционные стремления угнетенных, закрепощенных масс, но все же узкий и ограниченный, осталась у Шевченка на всю его жизнь, хотя социальная сущность его мировоззрения эволюционировала и обострялась его революционная сторона, превращавшая национальную идеологию Шевченка в национально-освободительную и революционную. Это ведь идеология угнетенного народа, а не его угнетательских классов, — идеология, оформлявшая мужицкое сознание в революционное действие.

Второй, после национальной ограниченности и исключительности, составной частью крестьянского миропонимания является религия. Весь крестьянский быт перепле-тен ею так, что создана даже пословица: „без бога ни до порога“. Но по существу крестьянское религиозное мировоззрение далеко от догматического христианства. Для крестьянина абстракций вообще не существует. Для него и бог есть нечто конкретное, от чего зависит его хозяйство. А так как его хозяйство зависит от сил природы, то и бог его воплощается в силах природы либо представляется как ее владыка. В этом отношении крестьянская земледельческая идеология дофеодальных времен через всю христианскую эпоху пронесла свои языческие представления об одухотворении и обожествлении сил природы (анимизм), лишь маскируя их под покровом христианского культа, появившегося в древней Руси под влиянием потребностей едва лишь народившегося феодализма. Бог посылает дождь и погоду, ему нужно молиться,

чтобы дал урожай. Формула „как бог даст“ имеет довольно широкое распространение среди крестьянства. И крестьянин исполняет свои повинности перед богом подобно тому, как и повинности перед паном-помещиком. Он молится ему и приносит жертвы... в карманы попов; он свыкся с богом, как с непременным элементом своего быта, но во всем религиозном культе крестьянина преобладает элемент формальный и нормативный. Поскольку бог в представлении крестьянина управляет миром и людьми так, как пан управляет своей вотчиной и крепостными „душами“ и как сам крестьянин управляет своим хозяйством и семьей, то возможно и возмущение против такого управления, если оно не удовлетворяет интересов крестьянского хозяйства, если бог допускает существование общественного строя, душащего мужика; и это возмущение выражается формулой „нет господа на небе“, то есть нет желательного крестьянину строя, нет правды и т. д., или же и протестом против бога („гневить бога“).

Как и крестьянский быт, поэзия Шевченка заполнена богом. В его произведениях бог фигурирует даже слишком часто. Основные черты крестьянского бога отражаются и в Шевченковом боге. Правда, в отношении религии Шевченко вышел далеко за пределы примитивных крестьянских представлений. Он решительно восставал против церковщины, византийщины и поповщины, особенно под конец своей жизни. Он стоял на грани полного отрицания религии, трактовал религиозные темы в свете общественных отношений и в качестве земных общественных явлений, совлекая их с небес. На этом придется еще остановиться при анализе социальной эволюции взглядов поэта.

Но в общем религиозные представления поэта в подоснове своей покоятся на элементах мужицкого миропонимания. Правда, у него здесь намечается уже пантеизм, но и его корни лежат в крестьянской социальной среде. Его бог витает над природой или же просто воплощается в ней; к тому же эта божественность особенно выявляется в природе, тесно переплетенной с

жизнью и бытом крестьянским, ею окруженным. Наиболее ярко это выражается в таких поэтических строках:

Село! І серце одпочине...
Село на нашій Україні —
Неначе писанка: село
Зеленим гаєм поросло;
Цвітуть сади, біліють хати,
А на горі стоять палати,
Неначе диво, а кругом
Широколистиї тополі;
А там і ліс, — і ліс, і поле.
І сині гори за Дніпром;
Сам бог витає над селом!

Село! И сердце отдохнет... Село на нашей Украине — как расписанное пасхальное яйцо: село зеленой рощей поросло; цветут сады, белеют хаты, а на горе стоят палаты, будто диво, а вокруг широколистые тополи; а там и лес, — и лес, и поле, и синие горы за Днепром; сам бог витает над селом!

И вот за этими прекрасными декорациями природы и крестьянского окружения, до такой степени прекрасными, что в них и над ними поэт видит бога, развертываются жестокие и безотрадные общественные отношения, опирающиеся на эти самые „издали веселые палаты", проклятые поэтом-мужиком („о, если б вы терновником заросли!"), ибо оттуда идет гнет и обдирательство „убогого брата", крепостного мужика, ибо там сидит помещик-князь и „дочку и телку отнимает у мужика". На фоне таких общественных отношений, на одном полюсе некоторых „музыка режет во-всю, вино рекою гостей ненасытных заливает", а на другом — „мужицкие души важно пищат", — на таком фоне безотрадной социальной жизни крестьянства уже и сам бог видоизменяет свой характер, проявляет свое безразличие к этому социальному злу, ибо, может быть, „об этом" и бог не знает... а может быть, „знает, да молчит!"

В другом месте и в другое время религиозное чувство поэта с отвращением бежит из церкви, из „христианского капища", и когда перед ним показалась „по темному фону широкого луга блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга", то его религиозное настроение именно здесь находит свое удовлетворение. „Я вздохнул свободно, — говорит поэт, — невольно перекрестился и пошел домой"[1].

[1] Дневник Шевченка, „Журнал". 27. 13. 1857 г.

Эта „божественная“ природа, посылающая свет, тепло и росу на убогую мужицкую ниву, только и дает душе поэта отдохновение от людской кривды, давшей богатым силу и власть угнетать бедных и драть с них шкуру. Когда же поэт оборачивается к этим человеческим отношениям, то здесь перед нами в полной мере крепостной крестьянин, который в исканиях спасения у бога выявляет религиозный диапазон от покорной молитвы к богу до проклятий ему же. Безнадежность нищенского, бедственного положения крестьянина выражается то в покорности своей судьбе, то во взрыве отчаяния против нее. Вот несколько иллюстраций из „Кобзаря“ к этим переходам религиозного настроения.

В момент личного крушения, брошенный в каземат Третьего отделения, поэт склоняется перед судьбой: „То — воля господа!.. Угождайте, смиритесь, молитесь богу“, — советует он своим друзьям по несчастью, а главное, за Украину просит он: „за нее господа молите!..“ Или же он обращается к богу:

Господи великий,
Что не дал ты мне погибнуть,
Небесный владыка!
Что дал ты мне силу воли
Пересилить горе...

Однако, пересиливая свое горе (особенно социальное), молясь своему богу, мужик-поэт естественно приходит к постановке такого вопроса: „Видит ли бог за облаками наши слезы, горе?“ — и отвечает: „Может быть, и видит, но помогает — как те горы предвечные, что политы кровию людскою!“

Это уже начало критики бога, но характерно сравнение его роли с ролью мертвой природы относительно пролития людской крови, характерно сведение „живого“ божества к мертвой природе. За сим уже идет жалоба на бога, который, „может быть, знает людское несчастье, но молчит“. „Может быть, бог так хочет? Боже, боже! даешь волю и разум на свете, даешь красоту, чистое сердце, но не даешь жить!“

Итак, что же это за бог, не дающий людям жить? Или — такой вопрос поэта по поводу христианского тезиса „на все воля божья“: „И все-то несчастье, все, говорят, от бога! Неужели же ему приятно мучить людей?“ Но всех ли людей одинаково мучит сей „праведный, неумолимый, неублажимый“ бог? И здесь наглядной становится его классовая принадлежность:

Гуляє князь, гуляють гості;
Ревуть палати на помості.
А голод стогне на селі...
І стогне він, стогне по всій Україні,
Кара господева; тисячами гинуть
Голодниї люде. А скирти гниють,
А пани й полову жидам продають,
Та голоду раді, та бога благають,
Щоб ще хоч годочок хлібець не рожав, —
Тоді-б і в Парижі, і в іншому краї
Наш брат хуторянин себе показав!
Чи бог тев знае? — бо се було-б диво,
Щоб чути і бачить, і не покарать!
Або вже аж надто довготерпеливий!

Гуляет князь, гуляют гости; шумят дворцы, а голод стонет по селу... И стонет он, стонет по всей Украине, господне наказание; тысячами гибнут голодные люди. А скирды гниют, а паны и мякину евреям продают, да голоду рады, да господа молят, чтоб еще хоть годочек был неурожай, тогда б и в Париже, и в другой стране наш брат хуторянин себя показал!..

Знает ли об этом бог? Ведь это было бы странно, чтобы слышать и видеть, и не покарать! Или, может быть, чересчур уже долготерпеливый?

Оказывается, что „господне наказание“ — это наказание только для людей голодных, мужиков. Паны ему рады, ибо оно дает им прибыль (даже и за мякину). Люди гибнут, а у помещиков скирды гниют, и бог их не карает.

А може й сам на небеси
Сміється, братечку, над нами,
Та, може, радишся з панами,
Як править миром? —

А может быть, и сам на небесах смеешься, браток, над нами, да, может быть, советуешься с панами, как миром управлять? —

спрашивает поэт этого пана-бога. Ведь недаром же и украинские крестьяне часто величают его „пан-бог“.

Этот панский бог посылает добро одним лишь помещикам, а они принимают его как должное, даже не чувствуют божьей милости, добытой потом и кровью крепостного мужика.

Даєш ти, господи єдиний,
Сади панам в твоїм раю,
Даєш високиї палати,—
Пани-ж, неситиї, пузаті,
На рай твій, господи, плюють.
І нам дивитись не дають
З убогої малої хати.

Даешь ты, господи единый,
сады панам в твоем раю, даешь
высокие палаты, — паны же, ненасытные, брюхатые, на рай твой,
господи, плюют и нам не дают
смотреть из бедной малой хаты.

После всего сказанного от религии у поэта остаются лишь „рожки да ножки“. И в минуту отчаянья поэт заявляет: „Нет господа на небе“. Больше того. Шевченко под конец своей жизни даже совлекает бога с неба и в глумлении сажает его в „киот“. Он так издевается над этим „всевидящим оком“:

А ти, всевидящеє око!
Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невільників святих,
Як мордували, розпинали
І вішали?.. А ти не знало?
І ти дивилося на них
І не осліпло?! Око, око!
Не дуже бачиш ти глибоко!
Ти спиш в кіоті...

А ты, всевидящее око! Смотрело ль ты свысока, когда сотнями гнали в цепях в Сибирь невольников святых, когда мучили, распинали и вешали?.. А ты не знало? И ты смотрело на них и не ослепло?! Око, око! Не очень видишь ты глубоко! Ты спишь в киоте...

А все же Шевченко не изгнал окончательно бога из своего миросозерцания. Как мужицкая идеология немыслима была без внешней авторитарной силы, в данном случае в виде бога, как быт крестьянский заполнен богом, как целый угол крестьянской хаты заставлен богами, — так и мировоззрение и поэзия Шевченка заполнены богом, хотя поэт и богохульствует и издевается над ним. Но богохульство не перешло еще в окончательное отрицание религиозного мировоззрения, хотя и дает для этого прекрасную почву. Сам поэт, вспоминая свое детство и мать, говорит: „Лучше было б не рожать или утопить, чем приходится в неволе господа гневить“.

Вот этим „господа гневить“, этой небольшой черточкой так рельефно подчеркивается мужицкий характер философии Шевченка в отношении религии, несмотря на то, что он дал в своей философии элементы отрицания религии.

Еще более прочно, чем религиозные, отражаются у Шевченка мужицкие взгляды на семью и женщину, хотя и здесь он пошел далее, чем его социальная среда.

Семья в крестьянской жизни и сознании является основной ячейкой хозяйства и общественного устройства, нерушимым его основанием. Своя хата, свое поле, жена и дети — таков круг идеалов крестьянина. Лишь осуществляя их, крестьянин становится „хорошим хозяином“, а сделаться таковым является задачей его жизни. Вся крестьянская идеология сосредоточивается вокруг своей хаты, своего поля и патриархальной семьи; она, как к центру, тяготеет к индивидуалистическому, мелкособственническому хозяйству. Эта идеология, освященная веками и традицией, крепко держит мужика в пределах своего узенького горизонта, делая из него прочную опору экономического и общественного консерватизма и множества всяких предрассудков. Верным этой мужицкой традиции остается и поэт-Кобзарь. Он просит у бога „только хату, одну хаточку в саду, да две тополи возле нее, да бесталанную мою Оксаночку“...

Крепостная крестьянка в его стихотворении „На панщині пшеницю жала“ видит во сне свои мечты о будущем своего ребенка-сына:

І сниться їй: той син Іван
І уродливий, і багатий,
Уже засватаний, жонатий,
На вольній, бачиться, — бо й сам
Уже не панський, а на волі;
І на своїм веселім полі
У-двох собі пшеницю жнуть.
А діточки обід несуть...

И снится ей: сын ее Иван, и красивый и богатый, уже помолвленный, женатый, на свободе, — ибо и сам уже не крепостной, а вольный; и на своем веселом поле вдвоем пшеницу жнут, а детки им обед несут...

К этой идиллии крестьянского благосостояния на кусочке вольной земли, к „своей хате“, к своей семье стремился Шевченко как в поэзии, так и в личной жизни, особенно в конце ее, хлопоча над покупкой небольшой усадьбы на Днепре, постройкой хаты и женитьбой на простой крестьянской девушке. Там он видит свою „благодать“: „поставлю хату с горницей, райский садик

насажу; посижу я и похожу в своей маленькой благодати“...

Эти строки написаны в конце 1860 года, когда поэт хлопотал уже над осуществлением своей мечты. Прежде, в ссылке, когда у него не было надежд на эту „благодать“, он мог только завидовать тому, кто ее имеет: „Благо тебе, друг и брат, когда есть у тебя хата! Благо тебе, если в хате есть с кем поговорить, хотя бы бессловесное дитя“.

При таких представлениях об основах экономического и общественного быта, о своей хате и семье, всякий нарушитель освященных мужицким сознанием патриархальных обычаев и нравов должен считаться преступником. Мужицкая община сурово карает такого преступника: девушку, вне брака родившую ребенка („покрытку“), она изгоняет из своей среды, внебрачное дитя („байстря“) осуждает на водительство нищих слепцов и на вечное презрение.

С этой стороны Шевченко не смог полностью итти за своей средой. У него „покрытка“ и „байстря“ — наиболее обиженные, самые бесталанные элементы общества, продукт плохих общественных отношений, и поэтому он плачет над их несчастной судьбой. „Покрытка“ и „байстря“ чрезвычайно часто выступают в поэзии Тараса Григорьевича. Но всегда трактуются они как последствия помещичьего гнета или как результат любви крестьянских девушек к панам и барчукам. Он с такой болью пишет об этих социальных продуктах крепостного строя:

А он бачиш? Óчі, очі!
На-що ви здалися?
Чом ви з-малку не висохли,
Слізьми не злилися?
То покритка по-під-тинню
З байстрям шкандибає, —
Батько й мати одцурались,
Й чужі не приймають,
Старці навіть цураються...
А панич не знає:
З двадцятою недолюдок
Души пропиває.

А там видишь? Глаза, глаза! Для чего вы мне? Зачем вы в детстве не высохли, не изошли слезами? То покрытка под частоколом плетется с ребенком,— отец и мать отреклись от нее, и чужие не принимают, даже нищие чуждаются... А барчук не знает: с двадцатою мерзавец души пропивает.

Точно так же и „Відьма“ в его произведении, возвращаясь с внебрачными детьми, остриженная, на Украину, с ужасом вспоминает: „Как надо мною люди надругались!.. Чуть было не утопилась, да жаль было бросить близнецов“; а когда эта „ведьма“-„покрытка“ умерла,— „в луже старую ведьму черти утопили“ с точки зрения крестьянского общества,—то в ее могилу „осиновый кол вбивали“. Поэтому поэт призывает девушек: „Не соблазняйтесь лукавыми панами, ибо погибнете осмеянные“, и горячо им советует: „Любитесь хоть с батраками, с кем хотите, мои милые, только не с панами!“

Тяжела, безнадежна судьба потерявшей невинность девушки в такой среде. Она влачит жалкое существование, пока не погибнет „между псами на дороге, где-нибудь под забором“; из ее ребенка также ничего не выйдет, и он— погибший с точки зрения темной крепостной среды: „никогда внебрачная мать не будет иметь хороших детей“.

Даже „матерь божию“ Марию Шевченко трактует как батрачку у „Иосифа плотника“, „благовестившуюся“ от любви к „веселому гостю молодому“, и если она не стала „покрыткою“, то только потому, что старый плотник покрыл ее „благовестный грех“, оженившись на ней, иначе убили бы ее люди и не было бы Мессии. Таким образом,

Не од Сіона благодать, А з тихої твоєї хати Нам возвістилася. Як би Пречистій їй не дав ти руку, Рабами б бідні раби І досі мерли б.	Не от Сиона благодать, а из тихой твоей[1] хаты нам возвестилась. Если бы пречистой ей не дал ты руку, умирали б до сих пор рабами бедные рабы.

А все же и Мария „под забором, в печали, в сорной траве с голоду умерла“.

Такая человеческая, даже более—мужицкая трактовка религиозной легенды могла зародиться только в голове, наполненной мужицкой мудростью. Но в этой голове не возникло даже и мысли протеста против той, уже своей, а не панской среды, которая изгоняет из своего

[1] То есть плотника Иосифа.—*А. Р.*

круга лишенную невинности девушку-мать и чуждается этой нарушительницы норм крестьянской морали. Ни одного слова осуждения против этой варварской морали! Поэт принимает ее как должное, нерушимое, не подлежащее критике. Весь его гнев направляется лишь против панов, виновников зла, бесчестящих девушек и плодящих от них внебрачных детей.

Вот в каких трагически-эпических тонах описывает поэт сцену, как отец и мать прогоняют из дому Катерину с ребенком:

„Доню моя!
Що ти наробила?..
Оддячила! Іди-ж шукай
У Москві свекрухи!
Не слухала моїх річей,
То її послухай!..
...Іди од нас!..“
Ледви-ледви
Поблагословила:
„Бог з тобою!“ — та, як мертва,
На діл повалилась.
Обізвався старий батько:
„Чого ждешь, небого?“

„Дочь моя! Что ты наделала?..
Отблагодарила! Иди же ищи в
Москве свекровь! Не слушалась
моих речей, то ее послушай!..
Иди от нас!..“ Еле-еле благословила: „Бог с тобою!“ — и
как мертвая на пол повалилась.
Отозвался старый отец: „Чего
ждешь, несчастная?“

Зарыдала Катерина, просит у отца прощенья, но он ей отвечает:

„Нехай тебе бог прощає
Та добрії люди!
Молись богу та йди собі —
Мені легче буде“...
Отаке-то на сім світі
Роблять людям люди, —

„Да простит тебя бог и добрые люди! Молись богу и иди
себе — мне будет легче“...

Вот что на белом свете делают
люди с людьми, —

эпически замечает поэт. Нет у него здесь бунта, нет протеста против варварства своих же людей. Остается только „мелкими слезами горе изливать“.

Однако, не имея силы восстать против нечеловеческих законов крестьянского общежития, Шевченко всеми своими симпатиями на стороне этих самых несчастных людей крепостного общества, на стороне „покрыток“ и „байстрят“, которых он из подонков, презрения и отщепенства под-

нимает на вершины поэтического творчества. В стихотво-
рении „Ой, крикнули сірі гуси“ поэт говорит о том, что
стала слава недобрая“ о вдове, которая от свободной
любви с казаком родила сына. Но эта вдова у него не
захотела быть презренной в глазах ее среды, она даже
бросает вызов своим врагам: выпестовала своего сына,

Одягла його в червоний жупан дорогий, Посадила на коника: Гляньте, вороги! Подивитесь!“ Та й повела коня вздовж села...	Одела его в красный кафтан дорогой, посадила на коня: „Посмотрите, враги!“ И повела коня вдоль села...

Этими строками Шевченко показывает, что он далек
был от мещанской и крепостной морали. Он даже в
стихотворном послании к своей куме пишет:

Начхай на ту дівочу славу, На щирим серцем, не лукаво, Хоч раз, сердего, соблуди.	Наплюй на девичью славу и чистым сердцем, не лукаво, хоть раз, миляга, соблуди.

Однако все же и он говорит о „недоброй славе“,
о вдове (характерно, что не о девушке), в свободном
браке родившей сына-казака, и в конце концов и эта
вдова „сама на богомолье в Киев, в монахини ушла“,
вероятно, замаливать свой „трех прелюбодейный“.

Своими взглядами на женщину, правда, не всегда по-
следовательными, на семью Шевченко в основном остался
на основе мужицкой философии. Крепостной и враг кре-
постничества, мужицкий поэт не смог решительно вос-
стать против предрассудков и темной философии своего
мермяжного общества.

VII. КРЕПОСТНИЧЕСТВО И ШЕВЧЕНКО

С какой бы стороны ни начать разбор творчества
Шевченка, анализировать и изучать его социальный облик,
неизменно под ним раскрывается его общественная подо-
снова — закрепощенный класс, его мужицкая среда. И бед-
ствия самых глубоких низов крепостного крестьянства,

и их мечты, и стремления переливаются во вдохновенное слово Кобзаря; а из бедствий этих — прежде всего крепостное право, „панщина проклятая“; и мечтает „этот убогий народ“ прежде всего о с в о б о д е „без холопа и без пана“. Не мог поэт, сам вышедший из этого крепостного а д а и попавший в солдатскую неволю, на собственной шкуре испытывавший, какая „там неволя, работа тяжкая“, — не мог он, конечно, равнодушно пройти мимо крепостного права во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Более того, — вся поэзия Тараса, равно как и весь его социальный и идейный образ, глубоко коренится в крестьянско-крепостной почве. Крепостное иго было основой общественных отношений, им определялось взаимное положение классов и их общественная идеология, в том числе и идеология Тараса Григорьевича. Ни его казацкую романтику, ни его национализм, ни его социальную поэзию нельзя понять, если забыть, что они происходят от общественного слоя, угнетенного кабалой крепостнических отношений.

А эти отношения, после того как казацко-хлопская революция 1648—1649 годов превратилась в казацко-старшинскую контрреволюцию, а затем и в помещичью реакцию, неуклонно развивались и укреплялись и за два века достигли наивысшей точки. Мы уже видели, как старшина и казацкие верхи превращались в помещиков-крепостников и как усиливался их гнет над крестьянством, увеличивалась барщина и усиливалась власть помещика над крепостным.

Социально-экономический натиск на крестьянство со стороны украинского дворянства, имевшего в своих стремлениях опору в российском абсолютизме, компенсация его за политические потери разграблением земель и закреплением крестьян — все это шаг за шагом все более и более ухудшало положение крепостных. Этот процесс закрепощения, как уже выяснено выше, создавал в крестьянстве почву для идеализации прошлой казатчины и для воспоминаний о том, как когда-то изгоняли из Украины феодальную польскую шляхту, как превращали землю

в „сполную“. В те времена, как их идеализирует и Шевченко, „братская наша воля, без холопа и без пана, сама себе в кафтане, развернулась веселая“.

Но затем Москва (и особенно царица Екатерина) уничтожила казацкую волю, разрушила Запорожскую Сечь, а старшины с гетманами при ее помощи „панам на Украине народ закрепостили“.

Шевченко действовал в ту эпоху, когда крепостное право в своем двухсотолетнем развитии дошло до наивысшей ступени своего расцвета, стало уже в резкое противоречие с интересами экономического и общественного процесса и клонилось к упадку. Но тем тяжелее и острее должен был чувствовать его тяжесть закрепощенный класс. Эпохи загнивания и упадка отживающих обществ всегда сопровождаются вырождением и полным паразитизмом своих господствующих классов. Дворянское сословие времен Шевченка выявляло все признаки экономического разложения крепостнического строя, основанного на рабском, подневольном труде, все признаки своего общественного гниения.

Обострение вместе с этим загниванием и ростом паразитизма также и угнетения и эксплоатации крепостных крестьян усугубляло для них и нестерпимость их отчаянного положения, требовавшего выхода. Вся история крепостнических отношений 40-х и 50-х годов прошлого столетия заполнена отдельными попытками крестьян сбросить с себя ярмо крепостного права. Так, на Подолии в 1845 году вспыхнуло восстание с участием трех с половиной тысяч крестьян. В 1846 году волна крестьянских восстаний прокатилась по Галиции и имела отклик и по сю сторону Збруча. Правобережные помещики очень неуверенно чувствовали себя в 1847 году; в их среде распространялись слухи, что крестьяне собираются устроить новую гайдамацкую резню помещиков-поляков. В 1848 году были бунты в одиннадцати помещичьих имениях. Такие настроения крестьян, особенно в связи с революцией на Западе 1848 года, очень беспокоили украинских помещиков. Статистика за годы царствования Николая I на-

считывала 556 крестьянских бунтов; на самом же деле их было, конечно, больше. Рост крестьянского протеста против панщины ярко отражается в следующей табличке крестьянских восстаний:

За годы	1830—1834	было в России	46	восстаний
„ „	1835—1839	„ „	59	„
„ „	1840—1844	„ „	101	„
„ „	1845—1849	„ „	172	„
„ „	1850—1854	„ „	137	„

Иногда в этих восстаниях принимало участие до десяти тысяч крепостных крестьян. Большинство восстаний было задушено военной силой с неизбежными экзекуциями и ссылками в Сибирь [1]. Разъединенные крестьянские восстания не могли перерасти в революцию, потому что в городах не было еще организованного революционного класса, способного объединить их и повести путем революции. Российская буржуазия тех времен еще с колыбели своей льнула к царизму и становилась на ноги под его опекой.

Таким образом, если принять во внимание приведенную табличку, развертывающую картину крестьянских волнений времен творческой деятельности Тараса Григорьевича, и особенно в 40-е годы, когда он бывал на Украине (1843 и 1845—1847 гг.), и бывал как раз в губерниях, наиболее охваченных крестьянскими бунтами (Киевская, Черниговская), то ясно станет, как он должен был реагировать на крепостное право. Его картинки крепостного быта изображают ад.

Он глянь, — у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, — бо нічим обуть
Панят недорослих. А он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину, —

Вот посмотри, — в том раю, который ты оставляешь, рваный зипунишко с калеки снимают, снимают вместе с кожей, чтобы обуть панских детей, недорослей. А вот распинают вдову за подушную подать, а сына заковы

[1] Все сведения о восстаниях взяты у Семевского, „Крестьянский вопрос в России", т. II.

Єдину надію! — в військо оддають...

...А он-де під тином
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщині жне.

вают, единственного сына, единственное дитя, единственную надежду! — в солдаты отдают...

...А вот там под плетнем опухший ребенок голодный умирает, а мать жнет на панщине пшеницу.

Так писал Шевченко в 1844 году („Сон"). Безысходная нищета крепостной жизни, „неволя, работа тяжкая" — такие впечатления, и только такие, вынес он из своей социальной среды. Даже природа, которой поэт всегда любовался, — Днепр, горы, рощи, сады, среди них „зеленеют широкие села", — все это чернеет на фоне социальных бедствий.

Аж страх погано
У тім хорошому селі:
Чорніше чорної землі
Блукають люди; повсихали
Сади зелені; погнили
Біленькі хати, повалялись;
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подурили,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть...
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві. Гинуть, гинуть
У ярмах лицарські сини,
А препоганиї пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Страшно плохо в этом хорошем селе: чернее черной земли бродят люди; посохли зеленые сады; погнили беленькие хаты, развалились; пруды поросли сорной травой. Село как будто погорело, как будто люди сошли с ума, немые на панщину идут и деточек своих ведут...

И не в одном этом селе, а всюду на славной Украине людей запрягли в ярма лукавые паны. Гибнут, гибнут в ярмах рыцарские сыновья, а препоганые паны евреям, своим добрым братьям, продают последние (мужицкие) штаны...

Особенно свирепствовал крепостной гнет на Левобережьи. На Правобережьи, боясь „польской интриги", царское правительство еще так-сяк сдерживало помещичий произвол в известных границах приличий и принуждено было оглядываться и на крепостных крестьян. Но на Левобережьи такой опасности не было, там помещикам была предоставлена полная свобода распоряжаться жизнью

и смертью крепостных. Такая разница в положении крестьян по разные стороны Днепра приводила к своеобразной работорговле. На Правобережьи в то время зарождалась и развивалась свеклосахарная и винокуренная промышленность, вырастая в помещичьих латифундиях. В условиях крепостнических отношений развитие промышленности, также основанной на крепостном труде, еще ухудшает жизненные условия крепостных, ибо помещики в связи с этим не только эксплоатируют их подневольный труд, но и торгуют им.

Если помещик продает крепостных вместе с землей другому помещику, то это еще не изменяет их положения. Но если он их отрывает от земли, от семьи и продает, как собак, то это во много раз хуже. Развитие промышленности создает почву для такой массовой работорговли. А как, если не работорговлею, можно назвать наем фабрикантами у помещиков людей на работу? Конечно, помещики берут деньги за этих „белых негров“ и отдают их, голых и босых, на работу на фабриках, где они „болеют, умирают десятками, тоскуют и убегают толпами“ [1].

Продажа людей вообще представляет обычное явление при крепостном праве, промышленность создает для нее лишь более широкую основу. Вот такие-то дела „мы творим в нашем раю“, — говорит поэт. „Мы в раю устроили ад“, не только „с братьями лихо живем, братьями поля пашем“, что соответствует отношениям панщины, но и „продаем или в карты проигрываем людей — не негров, а таких же крещеных, но простых“.

Поэт со всей решительностью восстает против таких законов, „писанных палачами за вас“, то есть за помещиков. „Всуесловы, лицемеры, господом проклятые! Вы любите на брате шкуру, а не душу, да и дерете по закону“, — так клеймит он этих „рабовладельцев“, „просвещенных христиан“. Он спрашивает у них:

---

[1] Свидетельство Самарина у Семевского, „Крестьянский вопрос в России“, т. II.

Ви розбійники неситі,
Голодні ворони!
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться-ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо, —

Вы разбойники, ненасытные, голодные вороны! По какому справедливому, святому закону и землею, данной всем, и несчастными людьми торгуете? Берегитесь же, ибо горе вам будет, тяжелое горе, —

пророчит им поэт, призывая на них „новый огонь с Холодного яра“, то есть новую гайдаматчину, новое восстание против помещиков. Ненависть к панам-помещикам вполне логически рождается у крепостного мужика как классовая ненависть угнетенного класса против угнетателей. Поэзия Шевченка полна такой ненависти. Время, когда он призывал своих земляков-помещиков обнять меньшего брата, было чрезвычайно кратко. Это, собственно, было мгновение иллюзий, вызванных либеральными разговорами среди „образованных помещиков“, их вольнодумием. Но и на них, по существу дела, поэт не возлагал особенных надежд, он только предупреждал их: „Опомнитесь! Будьте людьми, ибо будет вам беда!“, предвещая их детям, что „сотнями рек потечет в синее море кровь детей ваших“...

В дальнейшем от таких призывов к помещикам не осталось и следа. Панский либерализм и народолюбие имели слишком наносный характер и никогда не были глубоки. Поэтому и Шевченко еще до ареста не возлагал уже на них никаких надежд. „Пускай паны издеваются, братьями торгуют да кровавыми слезами сатану угощают, — их и души запроданы“.

Арест кирилло-мефодиевцев, а затем западноевропейская революция 1848 года совершенно выветрили эти хилые ростки помещичьего либерализма. Бывшие приятели Шевченка припали „к стопам“ „неудобозабываемого Тормоза“, как называл Тарас Григорьевич Николая I следом за Герценом, а крепостной поэт чем дальше, все больше „лютое, панство проклинал“, углубляя социальное содержание своей поэзии. Все его стремления, его

рай на земле, имеют одну непременную предпосылк
чтобы „не осталось и следа панского на Украине".

Характерно, как относился Шевченко к бунтарски
попыткам крестьян покончить панщину за один раз. У
из его поэзии это отношение выступает ясно. Но ещ
лучше его подчеркивают такие записи самого поэта
в своем „Журнале" во время путешествия по Волге пр
возвращении из ссылки (1857 год). Проплывая мимо о
ного села, Шевченко записывает о следующем выдающемс
событии, случившемся в этом селе: „Прошлым летом, когд
поспели жито и пшеница, мужичков выгнали жать,
они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли хлеб
со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яро
вое не поспело, а то и его бы за один раз покончил
Отрадное происшествие" [1]. Несомненно, приятели Ше
ченка из образованного панства в этом „отрадном прои
шествии" и в отношении к нему мужицкого поэта ув
дели бы одно только безумие. Но оно весьма характерн
для поэта, который, возвращаясь из неволи, вез с собо
ненависть к ней и „отрадное происшествие" видел в
всяком проявлении такой ненависти и со стороны свои
мужичков. В другом месте дневника Шевченко запи
сывает совершенно иной поступок „кротких мужичков
которые, „вместо того чтобы просто повесить своего гра
бителя (помещика), пришли к губернатору просить управы
и результат получился соответствующий: „Губернатор, н
будучи дурак, велел их посечь" [2]. Отношение поэт
к этим „происшествиям" не нуждается в комментария

За какую бы тему ни взялся Тарас Григорьеви
всюду и всегда, когда касается он социальных отноше
ний, его муза и его проза „раздирают завесу народно
жизни", раздирают занавес, прикрывающий классовые о
ношения, гнет и грабительство: с одной стороны — жерт
крепостничества, а с другой — угнетатели-помещики и и
прислужники, — и каждое такое стихотворение поэта, ка

---

[1] Дневник, 19/IX 1857 г.
[2] Дневник, 7/XI 1857 г.

дая его запись превращается в позорное клеймо для крепостного строя, в разоблачение „собачьих нравов“ панства, стремившегося уже накануне так называемого „освобождения крестьян“ всячески ему препятствовать. Между прочим Шевченко иронически замечает о нижегородских помещиках: „Их теперь нахлынуло в Нижний на выборы видимо-невидимо... Говорят между собой только по-французски. Пьянствуют и шумят в театре, и слышно, составляют оппозицию против освобождения крепостных крестьян. Настоящие французы“ [1]. А вот помещик-либерал Возницын, едущий в свое поместье „по случаю освобождения крепостных крестьян. Он хотя и либерал,—говорит Шевченко,—но, как сам помещик, проговорил эту великолепную новость весьма с неудовольствием. Заметя сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии,—с иронией продолжает поэт,—я почел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете“ [2].

Шевченко не только ненавидит помещиков-дворян и издевается над ними. Он дает им и прекрасную политическую характеристику, из которой гнилость, паразитизм этого сословия и круг его умственных интересов совершенно ясны. „У европейцев,—говорит Шевченко,—клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать“ [3].

Разоблачая этих „французов“, издеваясь над их либерализмом, с таким неудовольствием относящимся к неприятной возможности даже царского „освобождения крестьян“, клеймя позором их „собачие нравы“, Шевченко сам признает классовую основу своей ненависти к помещикам; он говорит, что ему давно хотелось описать Марину,—

---

[1] Дневник, 12/XII 1857 г.
[2] Дневник, 9/IX 1857 г.
[3] Дневник, 3/X 1857 г.

Так що-ж? сказали-б, що брешу:
Що на панів, бачиш, сердитий,
То все такее і пишу
Про їх собачиї звичаї.
Сказали-б просто: дурень лає
За те, що сам крепак,
Неодукований сіряк.
Неправда! Єй-богу, не лаю!
Мені не жаль, що я не пан,
А жаль мені, і жаль великий,
На просвіщенних християн,—

Так что же? Сказали, бы, что вру: что, видите ли, сердит на панов, то все такое и пишу об их собачьих нравах. Сказали бы просто: дурак ругается за то, что сам крепостной, неотесанный мужик. Неправда! Ей-богу, не ругаюсь! Мне не жаль, что я не пан, а жаль мне и очень жаль просвещенных христиан,—

то есть дворян-помещиков, ибо „и дикий зверь того не сделает“, что делают они со своими крепостными. В этих строках поэт просто и ясно заявляет об определенно классовом характере своей поэзии,—он и в мыслях никогда не имел надклассового, внеполитического искусства. Для него слово было орудием, поставленным поэтом-борцом на стражу „людей закованных моих, убогих, нищих“.

Борьба за бедный народ, за крепостных крестьян, естественно, ставит Шевченка во враждебное отношение ко всем общественным слоям и людям, так или иначе связанным с гнетом и эксплоатацией угнетенного класса его эпохи. Поэтому и его патриотизм покоится на социальных стремлениях его класса. У Шевченка „моя Украина“—это и есть „народ убогий“, закрепощенное крестьянство. Все, кто социально стоит над ним,—враги этого крестьянства, враги поэта. Рядом с помещиком выступает его прислужник и посредник в эксплоатации—еврей. Этот еврей у Шевченка всегда ярко выражен как социальный тип кабатчика, ростовщика, арендатора—панского брата, бывшего в крепостнических отношениях связующим звеном в системе эксплоатации. Евреи в поэзии „Кобзаря“ выступают как представители денежного (ростовщического) капитала: „А тем временем евреи на селе появились с деньгами“.

К этим евреям, как к социальным угнетателям эпохи Шевченка и предшествующей истории, поэт питает одно чувство. Но вместе с тем в „Кобзаре“ видим и бедных,

„злосчастных евреев“. Там, где они представляются поэту как социально угнетенные фарисеями, царями, фараонами, — там и отношение к ним совершенно иное. В поэзии Шевченка много „иудейских“ мотивов, он и к иудейским пророкам любил обращаться за вдохновением в борьбе против социальной неправды, ибо находил у них созвучные себе ноты. Он клеймит „супостатов христиан“, заповедью Христа покрывающих свое хищническое лицо, и заявляет, что и кровь Христа „не на жидах, — на нас, лукавых, на детях наших препоганых“. У него и старая вдова-батрачка нанимается к евреям, потому что христиане ее не принимают.

Еще определеннее у поэта классовая основа борьбы с поляками. Они у него синоним шляхты — ляшки-панки, опять-таки еще большие угнетатели крепостного мужика. Он ставит их на одну доску со своими, украинскими панами, называя последних „людоедами злыми, новыми ляхами“; даже более, свои паны оказываются еще хуже: „хуже ляха свои дети ее распинают“.

Классовый характер такой полонофобии особенно раскрывается в стихотворении „Ляхам“, в котором поэт идеализирует те времена, когда казаки „братались с вольными ляхами“, прежде чем „ненасытные ксендзы, магнаты нас разъединили, развели“. Таким образом, ненавистные ляхи — это ксендзы, магнаты, шляхта, а не вообще поляки, ибо с вольными ляхами „мы бы до сих пор так жили“, то есть братались бы.

Точно так же и москалефобия и немцефобия имеют социальную основу протеста против царей, помещиков, попов, бюрократии и „христолюбивого воинства“. Немцефобия и юдофобия кроме того представляют сопротивление крестьянства против внедрения капитала и новых форм эксплоатации. Так и весь национализм Шевченка базируется на классовой ненависти закрепощенного мужицкого народа против всех классов и общественных слоев, стоящих над ним и эксплоатирующих его, имеющих разнонациональное лицо, не исключая и своего, украинского.

Поэтому у Шевченка нет никакого предубеждения против иноземцев вообще, против народов, не связанных с угнетением его народа. Поэтому он так сочувствует всем угнетенным народам, и не только славянским, но и „басурманским", как, например, воспетые им кавказские герои, борцы за свою свободу против русского завоевания, киргизы, татары и т. д.

Поэтому-то национализм Шевченка ничего общего не имеет с тем зоологическим национализмом, который сеется черносотенством и реакцией, всеми угнетающими классами, как средство против революции „работящих" рук.

VIII. БУНТ ПРОТИВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Классовое противоречие между закрепощенным народом и помещиками, вражда к угнетателям, стремление к свободе и попытки покончить с барщиной за один раз,—в общем все общественное сознание порабощенного крестьянства, поднимаясь к пониманию существа общественных отношений, выходя за пределы узенького кругозора чисто мужицкой „философии" своей волости, своей хаты, неизбежно должно приходить к полному отрицанию всего общественного строя, покоящегося на эксплоатации крепостного труда, к борьбе против всех его основ.

Крестьянство в своей массе самостоятельно, как класс, не поднимается к такому общему пониманию общественного строя и к организованной борьбе за свои классовые интересы, по существу оно и не является определенным классом, будучи аморфной, раздробленной, разъединенной в лучшем случае на отдельные общины общественной массой, становящейся социально активной лишь под руководством других классов. Без такого руководства революционно активного и сплоченного класса с центрами средоточия в городах крестьянская борьба за свои интересы обычно превращается в отдельные бунтарские вспышки, раздробленные попытки покончить со своим непосредственным угнетателем—помещиком (убий-

ство, поджог имения), а не со всей системой в целом. В лучшем случае такая борьба выливается в гайдаматчину, пугачевщину, жакерию, но уже и здесь крупные размеры и некоторую организованность ей придают другие классовые группировки (казацкая голытьба — в гайдаматчине, уральские рабочие и казаки — в пугачевщине, рудничные рабочие и ремесленники — в крестьянских войнах Германии и т. д.). Ограничиваясь выступлениями против своих ближайших и непосредственных врагов, крестьянская борьба сама по себе не направляется против всего общественного строя и государственной власти, защитницы интересов господствующих классов, не стремится к захвату политической власти. И как финал таких бунтарских вспышек села или волости является именно государственная власть с войсками, экзекуциями, тюрьмами и сибирской каторгой и таким путем восстанавливает „порядок".

Шевченко отдал должное этому мужицкому бунтарству. Его опоэтизирование гайдаматчины, его проповедь суда и кары угнетателям крепостного народа, его удовлетворение по поводу отдельных расправ крепостных над своими помещиками доказывают это вполне. Но бунтарство Шевченка по размаху его стремлений и их конечной цели стоит неизмеримо выше обычного мужицкого. Он не только призывал повесить грабителя-помещика, но и „царя повести к палачу", направив всю силу своего поэтического протеста против царского государства, против царизма, увенчивающего собою систему эксплоатации и гнета.

Русское государство тех времен держалось на трех китах: самодержавии, православии и народности, что в переводе на язык общественных отношений означает: царь, духовенство и дворянство — силы господства. Ясное дело, что мужику чисто эмпирическим путем легче всего определить свое отношение к помещику. Помещики непосредственно душат и эксплоатируют крепостных. Не так ясно отношение к какому-то далекому царю, настолько далекому от крестьянской хаты, что он принимает в гла-

зах мужика даже мифический, легендарный характер. Известно представление крестьянского миросозерцания, что царь не знает господских утеснений мужика, так как паны скрывают от него правду, иначе он помог бы крестьянству. Социально-экономические и политические основания таких представлений освещались уже в первой главе этой работы. И гайдаматчина, и пугачевщина, и даже более поздние крестьянские движения не могли обойтись без атрибута царской власти. Даже некоторые революционеры, как, например, Стефанович, пытались поднять крестьян на восстание „царскими“ грамотами [1].

Шевченко в этом отношении стоял на значительно более высокой — революционной — ступени общественного сознания. От протеста против крепостного ига, от ненависти и проповеди мести и кары панам он логически перешел к борьбе с царизмом, к антицерковной и антипоповской позиции.

Несомненно, к полному отрицанию царско-дворянско-поповского общества, основанного на крепостнических отношениях, Шевченко в значительной степени подошел через свой украинский патриотизм, выражающий его социальную связь с закрепощенным народом угнетенной страны. Против абсолютизма и царской власти он восстал прежде всего как против угнетателя Украины, как против силы, закрепостившей народ на Украине помещикам, ликвидировавшей „казацкую волю“, разрушившей Сечь и т. д. Из такого патриотизма вытекает презрение к „отечеству“, связанному с „престолом“. Это „отечество“, патриотизм к официальной России Шевченко только высмеивал, особенно в своих украинских панах. Достаточно привести несколько отрывков из „Кобзаря“, чтобы первоначальную пружину ненависти к царизму увидеть наглядно.

Прежних казацких героев, боровшихся „за честь, славу, за братство, за свободу Украины“, Шевченко противопоставляет своим землякам-современникам, и детей своих

---

[1] „Чигиринское дело“ Стефановича 1873—1875 гг.

продающих „москалю“ в качестве ленты „престолу, отечеству“. Это „отечество“ поэт не мыслит отдельно от царя и опять насмехается над его патриотами. „Вы и сами не знаете, что делают царьки, а кричите, что несете и душу и шкуру за отечество“, — говорит поэт своим панам-помещикам. Такой „патриот“ у Шевченка выступает как „щедрый и роскошный“ угнетатель-лицемер, который „все строит храмы и „отечество“ так любит, так о нем печется, да так с него, несчастного, кровь как воду точит“.

Произведения „Сон“ и „Кавказ“ можно считать шедеврами убийственной критики этого „престола-отечества“. От картины социального бедствия, человеческого плача, того рая, где „рваный зипунишко с калеки снимают“, „Сон“ переносит нас туда, где заводится пружина этого бедствия, и дает изображение государственного строя и системы управления в такой своеобразной форме: „За панами — панства, панства в серебре и злате. Как боровы откормленные, жирны и мордасты“, а среди них, конечно, царь — вершина правительственной и общественной системы.

Дивлюсь: цар підходить
До найстаршого та в пику
Його як затопить!
Облизався неборака,
Та меншого в пузо —
Аж загуло!.. А той собі
Ще меншого туза
Межи плечі; той — меншого,
А менший — малого,
А той дрібних; а дрібнота
Уже за порогом
Як кинеться по улицях
Та й давати, місити
Недобитків православних.

Смотрю: царь подходит к главнейшему да в морду его как заедет! Облизался горемыка, да меньшего в пузо — даже гул пошел!

А последний в свою очередь еще меньшего туза по плечам; тот меньшего, а меньший еще меньшего, а последний мелкоту, которая уже за порогом бросается по улицам месить недобитых православных.

Это, конечно, злая сатира, для „тонкого“, художественного уха, вероятно, грубая. Но как правдива она политически! Централистический и бюрократический абсолютизм с кнутом, как основным средством управления,

показывает нам здесь свое полицейское лицо. В таком же насмешливом освещении выступает и опора абсолютизма — „христолюбивое воинство“, к которому Шевченко всегда питал отвращение, бездушная выдрессированная армия: „как журавли, замаршировали солдаты, накормленные, обутые и закованные в цепи“.

Другая опора абсолютизма — его исполнительный аппарат, аппарат обдирательский, взяточнический и угнетательский, пиявки, по выражению поэта.

От і братія сипнула
У сенат писати,
Та підписувать, та драти
І з батька, і з брата.
А між ними і землячки
Де-де поглядають, —

Вот и братия во множестве пошла писать в сенат, подписывать и драть с отца и брата. А между ними и землячки кое-где посматривают,—

не пропустил случая и их зацепить своим острым пером поэт. Насмешливый тон изображения царского строя с его атрибутами переходит в трагический там, где начинается протест. Здесь этот протест против всего строя исходит еще из национального момента. Памятник царю Петру I с надписью царицы Екатерины II вызывает у поэта злобу к ним, как к палачам Украины.

Се той первий, що роспинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову-сиротину.
Кати, кати, людоїди.
Наїлись обов,
Накралися!
Тяжко, тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України.

Это тот первый, который распинал нашу Украину, а вторая доконала вдову-сиротину. Палачи, людоеды. Наелись оба, наворовали!

Тяжело мне стало, будто я читаю историю Украины.

А эта история напоминает ему, что „проклятый ненасытный“ царь „болота засыпал благородными костями“ казацкими, „поставил столицу на их трупах изувеченных“, а Полуботка, „вольного гетмана, голодом замучил“. Итак, здесь еще отрицание царизма исходит из национального романтизма. Таков же характер его и в стихотворении

„Великий льох“, где „три души“ не имеют доступа в рай за то, что одна при жизни гетману Богдану с полными ведрами дорогу перешла, когда он ехал в Переяслав присягать Москве, а другая московскому царю коня напоила, когда он ехал после Полтавской победы, а третья улыбнулась царице, не зная, что она „заклятый враг Украины“.

Но уже в „Кавказе“ критика общественного строя освобождается от национально-патриотического украинского подхода и принимает более широкий и глубокий характер. Взяв темой протест против завоевательной политики России на Кавказе, произведение это направляет свои жестокие удары и на царизм и на православие с их тюрьмами, кандалами, храмами и иконами, клеймит угнетение народов, крепостничество, бичует грабительскую войну, разливающую реки крови и слез, которых „хватило бы утопить всех царьков“. „Не реки — море разлилось, огненное море“, подчеркивает поэт. „Легло костьми много дрессированных людей“, и все это — для того, чтобы отнять у „рыцарей великих“ их чурек и саклю, их синие горы да чтобы „просветить“ „догматами непросвещенных“ инородцев.

У нас же й світа!.. Як на те —	Вот у нас сколько света!..
Одна Сибір неісходима.	Ведь одна Сибирь неисходима.
А тюрм? А люду? Що й лічить!	А тюрем? А людей? Да что считать!
Од молдованина до фина —	От молдованина до финна
На всіх язиках все мовчить...	на всех языках все молчит...
Бо благоденствує!..	ибо благоденствует!

Такая политическая критика, каждую строку наполняющая революционным призывом, сделала бы честь и значительно более позднему революционному поколению.

Изобличение грабительской войны на Кавказе, воспетом лучшими русскими дворянскими поэтами в духе экзотики, было вызовом всему официальному обществу, даже и „образованному“, то есть либеральному. Клеймить завоевание и угнетение народов Шевченко считал своим долгом. В своем дневнике он записывает 13 сентября 1857 года: „Возвращаясь на пароход, я увидел с правой стороны

от дороги памятник, воздвигнутый Иваном Лютым. Это усеченная пирамида с портиками, поставленная будто бы на том самом месте, где стоял шатер царя лютого. Печальный памятник“ [1].

Политические краски „Кавказа“ Шевченко чередует с религиозными, с критикой цареславного православия:

У нас
Святую Библию читає
Святий чернець і научає,
Що цар якийсь-то свині пас
Та дружню жінку взяв до себе,
А друга вбив — тепер на небі!
От бачите, які у нас
На небі...
...В нас дери,
Дери та дай,
І прямо в рай,
Хоть і рідню всю забери!

У нас святую библию читает святой монах и поучает, что царь какой-то пас свиней, а жену друга взял себе, убив друга — теперь на небе! Вот видите, какие у нас на небе... У нас дери, дери и дай — и прямо в рай, хоть и родню всю забери!

Грабительская и лицемерная сущность православного христианства (или „византийства“, как его называл Шевченко) лучше всего показана в таких строках:

Храми, каплиці і ікони,
І ставники, і мірри дим,
І перед образом твоїм
Неутомимії поклони —
За кражу, за війну, за кров, —
Щоб братню кров пролити, просим,
А потім в дар тобі приносим
З пожару вкрадений покров...

Храмы, часовни и иконы, светильники и мирры дым, а перед образом твоим[2] неутомимые поклоны — за кражу, за войну, за кровь, — для пролития братской крови просим, а потом в дар тебе приносим на пожаре украденный покров.

На подобную критику, на такое разоблачение действительной сущности общественного строя, религиозными покровами маскирующего свое эксплоататорское лицо, способны бывают лишь угнетенные, трудящиеся классы. Классовая сущность царизма для Шевченка была совершенно ясна. Она раскрывается в следующих словах, обращенных к земным владыкам:

---

[1] Разрядка моя. — *А. Р.*
[2] То есть Христа. — *А. Р.*

Доколе будете стяжать
И кровь невинну проливать
Людей убогих, а богатым
Судом лукавым помогать?

Царское государство, как аппарат господства богатых над бедными, с его „судом лукавым“ для защиты богатых, находит здесь свою политическую формулировку. Против такого государства с его рабством для трудящихся Шевченко восстает и потомкам своим завещает:

Схороните и восстаньте,
Оковы порвите,
И вражьею злою кровью
Волю окропите.

Выше цитированные поэтические произведения Шевченко написал преимущественно в 1845 году, то есть именно в то время, когда он бывал среди украинских панов, когда он был связан с киевскими славянофилами. И если сравнить их елейную проповедь кротости и непротивления, их страх перед всем революционным с процитированными строками — призывами окропить свободу кровью угнетателей, то полная классовая противоположность поэта по отношению к его ученым приятелям станет весьма наглядной. Во всех проявлениях царско-дворянского строя, во всех его политических мерах он видит гнет и грабительство. Очутившись в ссылке в закаспийской пустыне, он и там реагирует на эту захватническую политику:

Од спокон віку і до нині
Ховалась од людей пустыня,
А ми таки її знайшли;
Уже й твердині поробили,
Затого будуть і могили —
Всього наробимо колись.

Спокон веков и доныне скрывалась от людей пустыня, а все же мы ее нашли; уже твердыни соорудили, немного спустя будут и могилы — всего наделаем когда-то.

Как и в „Кавказе“, ход завоевательной политики абсолютизма поэт показывает как наступление тюрем, гнета, кнута и неволи на не затронутые еще царской „цивилизацией“ и византийскою церковщиной народы.

Таким образом, противоцарская поэзия Тараса Григорьевича в процессе развития его социально-творческого гения принимает все более и более широкую основу. Вначале Тарасова царефобия возникла из его украинского патриотизма, в основе своей имевшего социально и национально закрепощенный народ, собственно крестьянство, затем она перешла во всестороннюю критику русского абсолютизма вообще, независимо уже от Украины, а вражда к русскому царизму современем перешла в принципиальное отрицание царской власти вообще для всех времен и народов. Всех царей — и библейских и древнеславянских — Шевченко показывает как палачей. А для того чтобы удары его по царизму были более чувствительны, он объектом их избирает наиболее прославленных из них, „святых“ царей: библейского Давида, „святого пророка“, „ненасытного царя“ и „старого кота“ (развратника); славянского Владимира, тоже „святого“, растлителя; пьяного варяга Святослава и др. Интересно вступление к его стихотворению „Царі“. Автор зовет себе на помощь музу, „старенькую сестру Аполлона“, чтобы начать вдвоем —

Царів, або що, воспівать.
Бо як по правді вам сказать,
То дуже вже й мені самому
Обридли тії мужики,
Та паничі, та покритки:
Хотілося-б зігнать оскому
На коронованих главах,
На тих помазанниках божих —

Царей, что ли, воспевать. Ибо по правде вам сказать, очень уж мне и самому надоели мужики, да барчуки, да „покрытки“: хотелось бы зубы поточить на коронованных главах, на помазанниках божьих

и подержать в своих — мужицких, конечно — руках „святопомазану чуприну“ (волосы, хохол). Явно издевательский тон уже заранее определяет характер этого „воспевания“. И в самом деле, поэт показывает такие их „святые“ дела, что только и остается сказать: „Да казнят их палачи, этих царей, людских палачей!..“

Такое общее отношение ко всем и всяческим царям, князьям и императорам, „пьяным кесарям“, к „Нерону лютому“, или же и к современному версальскому „зло-

дею“ (Луи-Наполеону) — даже приводит Шевченка к правильным историческим представлениям о них. Вот, например, он в дневнике вспоминает Святославову гору, названную так потому, что якобы с этой горы Святослав, „этот пьяный варяг, разбойник, любовался на свою шайку, пенившую святой Днепр своими разбойничьими ладьями“ [1]. Нечего и говорить, что в этой аттестации героя древней Руси больше исторической правды, чем во многих ученых рассуждениях о „державе“ варягов и ее „государственных“ мужах, в рассуждениях, переносящих позднейшие представления об обществе и государстве на совершенно иные эпохи.

Другая заметка дневника относительно другой горы, почему-то названной Царевым курганом, показывает общее отношение поэта к самой природе самодержавия. „...Если царь взойдет на такую гору, то верно недаром, а употребительно для того, чтобы несытым оком окинуть окрестность, на которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных. А если он, боже сохрани, агроном, то это еще хуже; особенно если окрестность окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодоносною, и тогда потом и кровью крепостною утучнится бесплодный солончак“ [2].

Ненависть Шевченка к царям может сравняться лишь с его ненавистью к помещикам, для которых у него имеются только такие эпитеты, как „лакейско-боярское сословие“, грабители, разбойники и кровопийцы, ибо связь царя со своим лакейским сословием была ясна поэту. Но он возмущается не только тем, что эти лакеи царя так

Люд домуштрували, Що сам фельдфебель дивувались І маршировкою і всім, І „благосклонні пребували Всегда к ефрейторам своїм“.	Людей домуштровали, что сам фельдфебель [3] удивлялся и маршировке и всему и „благосклонны пребывали всегда к ефрейторам своим“.

[1] Дневник, 7/IX 1857 г.
[2] Там же.
[3] То есть Николай I. — *А. Р.*

Он возмущается и теми, кто терпит это царско-боярское или фельдфебельско-ефрейторское иго:

А ми дивились і мовчали
Та мовчки чухали чуби, —
Німії, подлиї раби,
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам в мережаній лівреї,
Доносщики і фарисеї,
За правду пресвятую стать,
І за свободу! розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О, роде суетний, проклятий,
Коли ти видохнеш?

А мы смотрели и молчали, да молча чесали затылки, — немые, подлые рабы, подножки царские, лакеи пьяного капрала! Не вам, не вам в позолоченой ливрее за правду пресвятую стать и за свободу! Распинать, а не любить вы учились брата! О, род суетный, проклятый, когда подохнешь ты?

Такой страстной злобой разражается поэт против подлых рабов в позолоченой ливрее, то есть опять-таки против тех же помещиков и бюрократов. Наивысшего развития эта ненависть к царям и панам достигает в последних произведениях поэта, написанных в конце его жизни. В своем стремлении к „святой свободе" без царей и без господ он доходит до отчаяния: „Горе, горе! мельчают люди на земле, растут и возвышаются цари", — и с упреком он обращается к людям:

О люди, люди, небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!

О люди, люди, горемыки! Зачем вам цари? Зачем вам псари? Ведь вы же люди, а не собаки!

Но в конце концов поэт заканчивает активным оптимизмом. Торжество правды и свободы должно наступить, ибо этого хотят миллионы. Шевченко через муки и печаль видит это торжество:

Муко, муко!
О скорб моя, моя печаль!
Чи ти минешь коли? Чи псами
Царі з міністрами-рабами
Тебе, о, люту, зацькують?
Не зацькують! А люди тихо,
Без всякого лихого лиха,
Царя до ката поведуть!

Мука, мука! О скорбь моя, моя печаль! Пройдешь ли ты когда-нибудь? Или псами цари с министрами-рабами тебя затравят, злую? Не затравят, а люди тихо, без всякого зла царя поведут к палачу!

В этих строках чувствуется уже тяжелая поступь восставшего народа, стихийный терроризм долготерпеливой массы, которая, придя в движение, уже ни с какой силой не считается и серьезно сделает свое дело — „разгромит трон“, „порвет порфиру“ и „без всякого злого зла“ расправится со своими угнетателями. Проповедь восстания и мести против угнетателей принимает жестокий характер, когда поэт от имени Украины пророчит ее „лукавым чадам“,

Що пропадуть вони лихі,
Що їх безчестіє і зрада,
І криводушіє огнем
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах;
Що крикне кара невсипуща,
Що не спасе їх добрий цар,
Іх кроткий, п'яний господар!
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся! Всюди
Вас найде правда-мста, а люди
Підстережуть вас, на-то те-ж
Уловлять і судить не будуть:
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім, без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розтнуть, розірвуть, розіпнуть,
А кров'ю вашою, собаки,
Собак напоять!

Что пропадут они, злые, что их бесчестие и измена, и криводушие — огнем кровавым, пламенным мечом отмечены на людских душах; что придет бдительная кара, что не спасет их добрый царь, их кроткий пьяный господарь (хозяин)! Не даст им пить, не даст им есть, не даст на коня вам охлябь (без седла) сесть и убежать; не убежите и не спрячетесь! Всюду вас найдет правда-месть, а люди подстерегут вас и поймают, и судить не будут: крепко закуют в кандалы, в село показывать приведут, и на кресте без палача и без царя вас, бесноватых, распнут, порежут, разорвут, а кровью вашею, собаки, собак напоят!

Эти строки дают лучший ответ всем тем лицемерным хвалителям Шевченка, которые разносят вопли о жестокости революции. Пролетарская революция на деле проявляет несравненно меньше жестокости, чем то, чего требует поэт Шевченко для своих классовых угнетателей. Со своей правдой-местью, проповедью пыток для своих социальных врагов и издевательства над ними он отражает дух бунтарства и мести низовой крестьянской стихии, когда она сдвинется с положения покорности и терпения. Орга-

низация, система, плановость и целесообразность в борьбе не очень прививается к крестьянским движениям. Они присуще борьбе более поздней общественной формации — пролетариата. Крестьянство же в разгаре борьбы выступает в большинстве случаев как слепая стихия, все уничтожающая на своем пути, и в первую очередь обрушивается со своей местью на ближайших и непосредственных врагов. В обычное время распыленная экономически, крестьянская масса в момент революционного взрыва превращается в стихию, дающую полную свободу своим разрушительным инстинктам. Такова в своей основе психология крестьянской революции, она находит свое яркое отражение в поэзии „Кобзаря", выражая отчаянную классовую ненависть крепостного мужика к извечным своим угнетателям-кровопийцам, помещикам с их царским государством в качестве аппарата порабощения.

Тарас Шевченко с вдохновением ветхозаветных пророков призывает такую кровавую революцию против панов и царей. Когда

Окують царей неситих В залізнії пута, І їх, славних, оковами Ручними окрутять; І осудять неправедних Судом своїм правим, —	Закуют царей несытых в железные цепи, и их, славных, оковами ручными скрутят; и осудят неправедных судом своим правым, —

только тогда угнетенные бедные люди, трудящиеся головы и руки, „отдохнут невольничьи утомленные руки, и колени отдохнут, закованные в цепи".

Шевченко видел и чувствовал разложение феодально-крепостнического общества, он правильно называл дворянство „аристократически гнилой породой", он говорил, что и под царем корень „уже гнилой, уже червивый, и слабый и худосочный". Падение крепостнического строя в это время (1858–1860 гг.) было уже наглядно неизбежно. Шевченко надеялся и желал, чтобы вместе с ним погиб и царизм, и всякий гнет, и рабство. Он предвидел уже, как вместо „рычания самодержавного владыки, царя несытого" —

Плач великий,
Во-місто львичищого рика,
Почують люди, і той плач —
Нікчемний, довгий і поганий
Межи людьми во притчу стане,
Самодержавний отой плач.

Плач великий, вместо львиного рева, услышат люди, и тот плач никчемный, долгий и поганый между людьми притчей станет, самодержавный этот плач.

Восставая против царско-дворянского общества с его крепостническими отношениями, Шевченко должен был ненавидеть и его охранительные силы, выдрессированную армию, и срывать покров лицемерия с религии, освящающей такой общественный строй. И действительно, он ненавидел „византийство“ и „христолюбивое воинство“, „русское оружие“.

Николаевская армия сама была отражением крепостнических отношений, да иначе и быть не могло, ибо военная, как и всякая другая, организация общества зависит от его экономической структуры. Отношения помещика и крепостного отражаются в армии в отношениях офицера и солдата. Войско из крепостных, отданных в солдаты помещиками в качестве наказания, построенное на рабских основаниях, под властью привилегированной офицерской касты из дворян и дворянчиков, — такова была армия крепостнического общества. Палочная дисциплина, жестокая муштра (обучение, шагистика), превращение воина в покорный бездушный автомат — были предпосылками боеспособности такого войска, куда помещики отдавали всех тех из крепостных, которые были наименее полезны в их хозяйстве. Отдача в солдаты была одним из проявлений гнета помещиков над крепостными, проводилась в наказание за проступки перед помещиками и в большинстве случаев ложилась на беднейшие слои крепостных, которые не могли откупиться от солдатчины. Как проявление социального гнета, солдатчина выступает и в поэзии „Кобзаря“ и в личной судьбе поэта. Он показывает нам вдову, которая

Шкандибає —
Під дзвіницю, сердешная,
Руки простягати

Плетется под колокольню, несчастная, протягивать руку тем самым богатым, которые сына

До тих самих, до багатих, Що сина в солдати Позаторик заголили.	в позапрошлом году забрили в солдаты.

Такая же судьба ждет и батрака, которого, „чтобы он где-нибудь преклонил головушку, отдадут в солдаты".

Такое накормленное, обутое и закованное в цепи „христолюбивое воинство", опора царского строя, вызывало у поэта отвращение, о котором он сам писал 19 июня 1857 года в своем дневнике, „Журнале": „В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания... Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия". Поэтому же „и бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека",— говорит поэт, с удовлетворением отмечая, что из него так и не сделали бравого солдата и что за десять лет солдатчины он „не изучил ни одного ружейного приема". То же самое находим и в его поэзии о самом себе, о том, как каждое утро в неволе с нетерпением ожидал он вечера, „ибо на позорище ведут старого глупца муштровать".

Основание для такого отвращения заключается в том, что это была царская опора, „русское оружие", отношение к которому определялось отношением ко всему самодержавно-крепостническому строю. Характерно в этом отношении воспоминание поэта об одном из своих бывших приятелей, известном Афанасьеве-Чужбинском, который остался должен Тарасу Григорьевичу двадцать три рубля и на напоминание об этом сильно нуждавшегося поэта, рядового солдата, „даже стихами не ответил". Но не в этом дело, а вот в чем: „Прошлой зимой,— записывает Шевченко в дневнике 2 июля 1857 года,— в фельетоне „Р. Инва-

лида“ вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение по случаю... не помню по какому именно случаю, помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель так отличается? Смотрю, действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился“. Эта лишняя черточка еще раз подчеркивает, каковы были земляки Тараса Григорьевича из панства, из которых один, припав к царским стопам („царь, дай бог ему здоровья и долголетнего царствования“), назвал поэзию Кобзаря „пьяной музой“ (Кулиш); второй от прежнего своего республиканского славянского союза скатился к царской империи и говорил о „донкихотских мечтах о местной политической независимости“ Украины (Костомаров); третий отличился подлой лестью „русскому оружию“; четвертый сделался цензором и запрещал произведения того же Шевченка (Лазаревский) и так далее... Все они пошли своей дорожкой, быстро ликвидировали свои „увлечения молодости“. Один только Шевченко мог про себя сказать, что и спустя десять лет ссылки „ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась“. А если и изменилась, то в совершенно противоположную от его бывших приятелей сторону: „Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ“, как он сам себя характеризует в дневнике (20/VI 1857 г.).

Просветлело и понимание природы общественного строя с его угнетательской троицей: царь, помещик и поп. Особенно округлилось, лучше сказать — заострилось понимание роли жреческо-поповской касты, авторитетом всяких религий, в том числе и православия, освящающей рабовладельчество, кадящей „дымом фимиама перед порфирородными идолами“, дурманящей головы угнетенных масс. В доказательство можно привести следующие блестящие строки из стихотворения „Саул“, написанного уже в 1860 году:

А маги, бонзы и жрецы
(Как будто наши пан-отцы)

В храмах кормились и в пагодах,
Как боровы царям на сало
Да на колбасы. И цари
Сами себе повоздвигали
Храмы, кумирни, алтари —
Рабы немые поклонялись.

Еще определеннее раскрыл Шевченко связь между религией и господствующими классами, дав верную политическую оценку православию. Возвращаясь из ссылки на пароходе по Волге и проплывая мимо города Чебоксары, в котором „по крайней мере наполовину будет в нем домов и церквей", поэт по этому поводу ставит и разрешает такой вопрос: „Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики — православие. Неудобозабываемый Тормоз по глупости своей хотел затянуть этот ослабленный узел и перетянул, он теперь на одном волоске держится" [1]. Такая ясность политической мысли ставит уже Шевченка выше его общества и его эпохи. К ней он пришел своим протестантским разумом, видя, как это православие с лицемерной елейностью помогает помещикам эксплоатировать мужика путем проповеди ему богоданности его состояния, всем своим ритуалом доказывая ему естественность рабства, воспитывает в нем покорность и терпение на земле, обещая за это рай на небе. А Шевченко восставал против социального ада на земле и призывал не к покорности, а к бунту. Поэтому он так приветствовал каждый, даже маленький „свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову" [2]. Его протест против сдавливания попами голов трудящихся людей, против обмана масс при помощи воли божией, повелевающей им терпеть гнет, нищету и рабство, принимает вполне антирелигиозный характер: „Врут боги, сии идолы в чужих чертогах!"

Апофеоз революции в творчестве Шевченка, полное

[1] Дневник, 17/IX 1857 г.
[2] Дневник, 10/XII 1857 г.

отрицание всего существующего и охраняющего строй рабства и эксплоатации труда, его полный нигилизм по отношению к нему, раздирание всех религиозных покровов, неудержимый бунт, разрушение и выбрасывание в сорную яму всего утвержденного и освященного веками рабства — все это с чрезвычайной силой отражается в небольшом стихотворении 1860 года:

Світе ясний, світе тихий,
Світе вольний, несповитий!
За що-ж тебе, світе-брате,
В своїй добрій, теплій хаті
Оковано, омурано
(Премудрого одурено),
Багряницями закрито
І росп'ятіем добито?..
Не добито! Стрепенися
Та над нами просвітися!
Просвітися!.. Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
„Явленими" піч топити,
Кропилами будем, брате,
Нову хату вимітати.

Свете тихий, свете ясный,
свете вольный, не скованный!
За что ж тебя, свет, мой брат,
в своей доброй, теплой хате заковали, затэчили (премудрого обманули), багряницами закрыли и распятием добили?.. Не добили! Встрепенись, да над нами просветись!.. Будем, брат, из багряниц портянки рвать, трубки от кадил закуривать, „явленными" печь топить, кропилами будем, брат, новую хату выметать.

Это стихотворение говорит уже о чем-то большем, чем крестьянская революция.

IX. УГЛУБЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ

Вместе с усилием протеста в поэзии Шевченка против господствующего строя, вместе с заострением его революционного сознания углублялось и классовое содержание его творчества. Социальное происхождение Тараса отразилось на всем его творчестве. Неизменная социальная его основа — закрепощенное крестьянство. Но и Тургенев и Некрасов показывали в своих произведениях мужиков. Мужики же у Шевченка несколько отличны от тургеневских и некрасовских. Его любимые социальные типы — наиболее угнетенные беднейшие элементы села. Беспризорный сирота, невольник, батрак либо батрачка, бедная вдова, наконец „покрытка" и ее „незаконнорожденное" ди-

тя — наиболее часто встречающиеся типы поэзии „Кобзаря". Детские годы самого поэта — убогая хата, раннее сиротство, барщина, тяжелый труд (крепостной и наемный) — остались глубокой нарезкой на его сознании. Поэтому общественные отношения и быт крепостных Шевченко отражал так, как их чувствовали беднейшие слои порабощенной деревни. И по мере того как муза Шевченка все реже обращалась к национальным мотивам, по мере того как усиливалась его ненависть к официальному обществу, в такой же мере все чаще и резче выступают в его поэзии именно эти наиболее обездоленные социальные элементы. Они были наиболее родственны поэту, в их судьбе он видел свою собственную. Поэтому такие произведения с такими типами часто носят автобиографические черты, как, например, стихотворение „Як би ви знали, паничі", „Козачковському" и др.

Крепостной быт, памятный Тарасу по убогой мужицкой хате, представляется ему в каждом воспоминании о селе, хатке и природе, в каждом оборвыше поэт видит самого себя, поэтому он с такой печалью представляет себе

Малого хлопчика в селі:
Мов одірвалось од гіллі,
Одно-однісіньке під тином
Сидить собі в старій ряднині...
Мені здається, що се я,
Що се-ж — та молодість моя;
Мені здається, що ніколи
Воно не бачитиме волі,
Святої воленьки! Що так
Даремне, марне пролетять
Його найкращиї літа;
Що він не знатиме, де дітись
На сім широкім вольнім світі,
І піде в найми...

маленького мальчика в деревне: как будто оторванный от ветки, один-одинешенек под плетнем сидит себе в старых лохмотьях... Мне кажется, что это я, что ведь это же молодость моя; мне кажется, что никогда он не увидит святой свободоньки! Что так бесцельно пролетят его наилучшие годы; что он не будет знать, куда деваться на этом широком вольном свете, и пойдет в батраки.

Таких социально обездоленных людей больше всего и изображает поэт то с глубокой симпатией к ним, то с протестом против их несчастной судьбы. С большой симпатией рисует Шевченко образ „Наймички" (батрачки).

Он плачет над судьбой того хлопа-казака, который „так и вырос сиротою в батраках. Сказано — оборванец, то и женился так: взял хорошую, но бедную, — конечно же, батрачку“; но лютое панство отнимает у такого бедняка даже его маленькое счастье: „так его проклятый пан на панщине проклятой замучил“, что в конце концов отнял и его жену.

Но эти беднейшие низы шевченковского села, эти, так сказать, зачатки предпролетариата страдают от гнета не только помещиков, не только от крепостного рабства, но и от рабства наемного труда. Они являются продуктом намеченного уже классового расслоения самого села. И крепостное село не было однородным. Зажиточные и бедняки уже на основе крепостнических отношений становились в противоречие друг к другу. Одни крепостные, более зажиточные, легко переносили тяжесть панщины, могли от нее откупиться, выкупались на волю. Среди них были и такие, что сами держали батраков. Естественно, что наемный труд хотя и представлял уже внутри крепостного строя зародышевый институт буржуазных отношений, но вместе с панщиной и крепостным трудом он ставил батраков в условия чрезмерного, двойного гнета и эксплоатации. Нечего и говорить о мизерности оплаты наемного труда. Если же прибавить к этому, что традиция крепостнического кнута даже после отмены крепостного права целые десятилетия сопровождала наемные отношения, не говоря уже о временах Шевченка, плюс исполнение повинностей помещика, то положение батрацкого слоя крепостного села будет совершенно ясным („Пошел в батраки, кормить голодную нищету“). За счет именно этих элементов село исполняло государственные повинности, в большинстве случаев отдавая их в солдаты. Этих же „белых негров“ помещики продавали (фактически) на разные другие работы, на фабрики и заводы.

Итак, село не со всех сторон было одинаково; его социальный вид зависел от того, с какой стороны на него смотреть. Шевченко смотрел на село глазами его бед-

нейшей части, глазами батрака, и в противоречиях этой части с зажиточной он всецело стоял на стороне первой. В этом, собственно, и заключается основа его вдохновенной проповеди восстания — революции против царей, помещиков, попов и богачей, это же имеет громадное значение для общественно-исторической оценки Шевченка.

Поэт крепостных низов, вышедший сам из беднейшего батрацкого слоя крестьянства, из того ада, где „братья на панщину ходили", а сестры „в найме выросли чужие", соответственно и в своей поэзии отражал классовые противоречия внутри самого крепостного села. Богатые и бедные часто выступают у Тараса со своими отношениями. Но как он их показывает? Вот, например, бедная вдова („Сова", 1844 г.) с маленьким сыном.

З горем та нудьгою
Пішла вона до сусідів
Поради просити...
Присудили сусідоньки
У наймах служити...
Пішла в найми... не минула
Лихої пригоди.
І день, і ніч працювала,
Подушне платила...

С горем и тоской пошла она к соседям просить совета... Присудили соседоньки по найму служить... Пошла в наем... не минула злой судьбы. И день и ночь работала, подушную подать платила...

Но такая уже судьба бедных, что

Тече вода і на гору
Багатому в хату,
А вбогому в яру треба
Криницю копати.
У багатих ростуть діти —
Верба при долині;
А у вдови одним-одно,
Та й те, як билина.

течет вода и на гору богатому в хату, а бедному и в овраге рыть колодец нужно. У богатых растут дети, как верба в долине; а у вдовы одним-одно, да и то как стебелечек.

Когда же этот сын вырос и вдове как будто судьба улыбнулась, подкралось новое несчастье — повезли парней на прием в солдаты. И вот здесь-то и раскрывается, как тяжесть рекрутчины ложится на плечи лишь бедных, так как другие

Усе дрібні, усе малі, —	все мелкие, все малы, — все
Все багатих діти, —	богатых дети, — тот калека, тот
Той каліка, недоріка,	заика, тот не умеет стать, тот
Той не вміє стати,	горбатый, тот богатый, — тех че-
Той горбатий, той багатий, —	тыре в хате. Все не в лад, всех
Тих чотирі в хаті.	назад, у всех судьба — мать. А
Усі не в лад, усіх назад, —	у вдовы один сын, да и тот как
В усіх доля — мати.	раз под аршин, —
А у вдови один син,	
Та й той як раз під аршин, —	

ибо нечем бедняку откупиться от солдатчины. Опять вдова „пошла наниматься, за хлеб черствый носить евреям воду, так как крещеные не принимают: стара стала, говорят, бессильная".

Поэт не может спокойно изображать такие отношения. В каждом его слове — протест против гнета богатых над бедными. Он в следующих словах определяет свое отношение к этому гнету и неравенству: „Не дай бог у богатого и пить попросить". Такую же вдову с детьми показывает Шевченко и в 1857 году („Москалева криниця"). И здесь он отмечает: „Хорошо иметь деток богатому: хвалить бога в роскоши; а бедной вдове не до того".

Таким образом, социальный критерий, приложенный к выяснению общественных оснований жизни, мировоззрения и творчества поэта-Кобзаря, наглядно определяет его как поэта беднейших, наиболее обездоленных слоев человечества, поэта батраков, поэта, отражавшего их нищету и горести, гнет над ними экономического и государственного строя; он резко протестовал за них, и их стремления, их, скорее инстинктивные, чем сознательные, представления и желания изменить общественные отношения вкладывал в свое слово. Свое беспредельное бунтарство, революционный пафос и полный нигилизм в отношении существующего рабского строя, стремление к полному разрушению всех его опор Шевченко вынес, и только и мог вынести, именно из этих беднейших низов крепостного крестьянства.

Крепостная „неволя, работа тяжкая" наибольшей тяжестью ложилась именно на крепостную бедноту и батра-

чество, знавшие в жизни только ад, социальный ад „в нашем раю на земле“, среди прекрасной природы.

Противоречие между раем природы и адом общества всегда более всего возмущало поэта. Поэтому и освобождение „трудящихся людей“ он мыслит как гармонию человеческой свободы с вольною природою. Когда прилетит на землю правда, тогда „отдохнут утомленные невольничьи руки“ и обновится и сама природа:

Оживуть степи, озера, —
І не верстовиї,
А вольниї, широкиї,
Скрізь шляхи святиї
Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики.
А раби тими шляхами,
Без гвалту і крику,
Позіходяться до-купи,
Раді та веселі,
І пустиню опанують
Веселиї села.

Оживут степи, озера, — и не верстовые, а вольные, широкие протянутся всюду святые дороги, и не найдут тех дорог властители. А рабы теми дорогами, без шума и крика, соберутся вместе весело и радостно, и пустыней овладеют веселые села.

Характерно, что все представления поэта о будущем, о лучшей жизни, о свободе непременно переплетаются со свободными степями, дорогами и веселыми селами. Село лежит в основе всего его миросозерцания. От села-ада он стремился к селу-раю. И „утомленные руки“ и „трудящиеся люди“ у Тараса Григорьевича обычно являются работниками земли, хлеборобами. В своих „Молитвах“, в гимнах „рабочим головам, рукам“ поэт в религиозной форме ярко отражает эту земледельческую идеологию своего класса. Максимум его пожеланий для своих бедных людей — это

Роботящим рукам,
Роботящим умам —
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждать
І посіяне жать —
Роботящим рукам.

трудящимся рукам, трудящимся умам — землю пахать, думать, сеять, не ждать и посеянное жать — трудящимся рукам.

Все произведения Тараса Григорьевича с особенно ярко выраженными социальными мотивами и с чрезвы-

айной остротой протеста приходятся преимущественно на последнее десятилетие его творчества. Хотя и раньше поэт писал о мужиках и батраках, но вначале он больше изображал их быт или показывал моральные качества („Наймичка"), но к концу жизни они становятся у него социально более резко очерченными. Такое углубление социального содержания поэзии затеняет собой национальную романтику начального периода творчества. Как вначале национальный момент доминировал во всех его произведениях, так потом доминирующим стал момент социальный. Безусловно, одной из причин такого явления была ссылка поэта. Эта ссылка углубила его разрыв с панской средой, его личная судьба острее подчеркивала его связь с мужицко-батрацкой средой, и бедный народ вместе с ненавистью и протестом против всех палачей начал доминировать в творчестве этого периода. Возвышение, возвеличение обездоленных трудящихся слоев человечества наиболее высокой степени достигает в трактовке поэтом личности Марии. Эта Мария, „святая мать", родившая „за свободу распятого человека" (Христа), была батрачка. На такую высоту поднимает поэт „людей закованных моих, убогих, нищих", за них он борется своим пламенным словом и их возвеличивает:

Возвеличу
Малых сих рабов немых.
Я на страже возле них
Поставлю слово...

ибо слово было единственным оружием великого борца-поэта.

Возвышение беднейших слоев общества, занимающих самое низкое место в общественной пирамиде, борьба против богатых и владык за лучшее будущее для батраков, прославление трудящихся людей, проповедь революции делают гениального бунтаря крепостной эпохи близким, родным для потомка крепостного батрачества—современного пролетариата, видящего в крепостном поэте своего безусловного предшественника.

X. ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕОЛОГИИ ПРЕДПРОЛЕТАРИАТ

В своей основе, как мы уже видели, поэзия Шевченк была мужицкой. Но Шевченко отражал не общего, а стрáктного крепостного мужика, а мужика с определенны и конкретным социальным уклоном в сторону батрацко бедноты. В центре его жизненных стремлений стоит стре ление батрака стать хорошим хозяином, а снижение хо зяина в положение батрака он рассматривает как несчасть „Вконец разорился мой казак", — печалится поэт над суд бой одного из своих героев, сироты-батрака, поднявше гося было в положение хозяина и разоренного помещико так, что „хоть продавай хату и иди наниматься". „А бы хозяин", — с сожалением отмечает поэт.

Каждый батрак мечтает иметь „свою хату", мечтае обзавестись хозяйством и сделаться хорошим хозяином мужиком, завоевав себе таким образом права граждан ства в сельской общине, так как эти парии в крепостно обществе не имели никаких прав даже в своем, мужи ком обществе, не имели даже того, что имел средни крепостной крестьянин, — своей хаты. И хотя эти батрацки слои и стремились возвратиться в мелкособственническо положение и имели соответствующую этому стремлени психологию, но они уже представляли собой продук разложения крепостной экономики, в их лице рождалас уже новая общественная формация, долженствовавшая дат начало наемному пролетариату для будущей по отно шению к тому времени буржуазной экономики. Нечег и говорить о каком-либо классовом, в нынешнем понима нии этого слова, сознании этой бедноты времен разложе ния крепостного хозяйства, — его не могло быть. Однако кое-где стремления бедноты идут уже дальше, чем стрем ления более зажиточных крестьян, мечтающих превра титься в свободных от крепостного права мелких буржуа хозяев на собственной земле, под охраной буржуазного государства.

Стремления батрацкой бедноты, выходящие за пре делы мелкособственнических идеалов, можно найти и

Шевченка: он говорит о земле, всем данной, и протестует против помещичьей торговли ею, он хочет полететь за облака, где „нет там власти, нет там кары“, или намекает на общность имуществ:

А що краще, лучче в світі, Як у купі жити, І братом добрим добро певне Ділить, не ділити?	Разве есть что-нибудь лучшее на свете, чем вместе жить, с братом добрым свое добро потребить без дележа?

Такие намеки на определенные мысли, ибо полностью мыслями их еще назвать нельзя, на основе последовательного сочувствия к бедным и батракам и неприязни к богатым, не говоря уже о ненависти к „помещикам-инквизиторам“, — эти намеки представляют уже нечто близкое к зачаткам сознания п р е д п р о л е т а р и а т а, по выражению Энгельса, то есть тех неимущих, беднейших слоев феодально-крепостнического общества, которые могли быть подходящей почвой для произрастания идей примитивного коммунизма, заимствованного из идеализации первобытного христианства.

С проявлением сочувствия к древнему, первобытному свободному пастуху у Шевченко создается представление об этих первоначальных ступенях человеческой культуры без царей, без палачей, без князей и без темных рабов, следовательно без деления на богатых и бедных, без классового деления и без гнета в обществе. Он так рисует себе этого пастуха:

В непробудимому Китаї, В Єгипті темному, у нас, І по-над Індом і Євфратом Свої ягнята і телята В полі вільнім вольно пас. Раban було, в своєму раї, — Радки-гадоньки не має: Пасе, і доїть, і стриже Свою худобу та співає. І ось — лихий царя несе З законами, з мечем, з катами, З князями, темними рабами, —	В беспробудном Китае, в Египте темном, у нас, и над Индом и Евфратом на вольном поле вольно пас своих ягнят и телят пастух, беспечный в своем раю: пасет и доит, и стрижет свою скотину, и поет. Но вот нечистый несет царя с законами, с мечом, с палачами, с князьями, с темными рабами, —

и пошло с тех пор рабство, гнет и господство царей магов, бонз и жрецов (да и наших пан-отцов).

Для того, чтобы мысли Шевченка о братстве, общности имуществ и свободе приобрели более определенный и современный коммунистический характер, — для этого не было еще почвы в крепостном, добуржуазном обществе николаевской России, отставшей на столетие от Европы, в которой уже развивался капитализм, пролетариат выступал уже как самостоятельная сила и где научный коммунизм Маркса — Энгельса был уже провозглашен. Нашему поэту с его батраками, сдавленными тисками классовых противоречий нарождавшегося буржуазного общества и крепостного гнета, оставался единственный источник для мечтаний и борьбы против царско-поповской иерархии крепостнического общества, — это евангельский коммунизм, идеализированное христианство первых его веков с его проповедью братолюбия, равенства, общности имуществ, блаженства для нищих, осуждения для богатых и т. д.

В таких условиях и для таких элементов протест против крепостного строя неизбежно должен был исходить из критики его охранительной идеологии — официального христианства. Такая критика находит себе оружие в Евангелии. На Евангелие опираются разнообразные крестьянские секты, на нем базируются их коммунистические стремления и практические попытки восстановить „христову церковь“, устраивая общественное хозяйство на коммунистических началах, как, например, — духоборы.

Мы уже останавливались на Шевченковой критике духовенства и византийской церкви, причем эта критика распространяется и на другие подобные церкви и на жреческую касту всех религий. Шевченко не только разоблачал роль поповской касты как орудия царского режима, но и самого „византийского Саваофа“, спящее в киотах „всевидящее око“, совлекал с неба, подвергая его суровой критике. В основе его религиозной философии, как уже отмечено, лежал пантеизм. Бога он видит в самой „божественной природе“, во всем видимом и невиди-

мом мире. Что же касается христианства, то в Библии и Евангелии он черпал близкие ему мысли о братолюбии и равенстве, об осуждении богатых, царефобии и пр. Его критика богов, „идолов в чужих чертогах“, и „отненьки на небеси“, советующегося с панами, как миром управлять, приближается почти к атеизму. И в то же время первобытное христианство становится для поэта идеалом общественных отношений на земле. Он его трактует как революционное учение и как революционное движение против кесарей, фараонов и фарисеев.

В Шевченковых „Неофитах“, в библейской форме изображающих и клеймящих самодержавный строй Николая I, Христос и апостолы „слово правды понесли по всей невольничьей земле“ (между прочим декабристов Шевченко называет апостолами свободы), а это слово возвестило „любовь, и правду, и добро, наилучшее добро на свете — то братолюбие“.

За эту правду Христа „пытали, во узы ковали“ и распяли, повесили между разбойниками, как говорил поэт. Сравнивая судьбу этого легендарного „божественного учителя“ бедноты с современными борцами за свободу, Шевченко раскрывает революционную основу своего евангелизма. За что повесили Христа?

Не говорить
Ні сам сивий верхотворець,
Ні його святиї
Помощники, поборники,
Кастрати німиї.
Чи не за те, що й ми тепер
(Сам себе питаю)
Отакими злодіями
Тюрми начиняєм,
Як і син оцей Марії?

Не говорит ни сам седой верхотворец, ни его святые помощники, поборники. кастраты немые. Не за то ли, за что и мы теперь (спрашиваю сам себя) такими же злодеями тюрьмы наполняем, как и этот сын Марии?

К божественной иерархии здесь довольно ругательское отношение. Зато и христианство изображается не в свете небесных, а в свете общественных отношений. Поэтому Шевченко с таким сочувствием относится к религиозно-революционным движениям (гуситы, табориты), как к движениям против феодальной церковной организации,

против папства, кардиналов, прелатов, баронов и князей, за „евангелие правды“ („Еретик, або Іван Гус“), за „простую, прекрасную, ясную истину“ братства, равенства и любви. В противоположность этой истине он высмеивает „безобразных суздальских идолов“ и возмущается по поводу „безобразнейшей вакханалии“, то есть церковной службы в честь апостолов (Петра и Павла), которых идеализирует как провозвестников истины [1]. В церковной обстановке и в „богослужении“ с его декорациями Шевченко усматривал „что-то тибетское или японское“ и протестовал против того, что „при этой кукольной комедии читается Евангелие“, видя в этом „самое подлое противоречие“ [2].

В общем первобытный христианизм с его борьбой против духовенства и церковной иерархии как одного из аппаратов господства эксплоататоров, с его отрицанием божественности обрядовой стороны религии, с его примитивным коммунизмом („братством“) был у Шевченка формой, в которой он высказывал свои революционные и социальные учения, если можно так назвать его поэтическую проповедь. И Христа Шевченко трактует не в духе религии, не как бога, высмеивая „седого верхотворца“, то есть самую идею „единого бога“, а как „праведного человека“, давшего человечеству заповедь, как построить человеческие общественные отношения на земле, давшего оружие „труждающим и обремененным“ против своих „гордых владык“ — кесарей и фарисеев. Поэтому и „царство божие“ поэт совлекает с небес на землю, облекая религиозным покровом освобождение бедных людей, закованных рабов, представляя его как „суд божий“ над палачами — царями и панами: „Се бог судит, освобождает долготерпеливых вас, убогих, и воздает злодеям за злая“.

Правда, такой революционизм в религиозном одеянии с примитивно-христианским коммунизмом в качестве идеала носит средневековый характер, он нас как будто

---

[1] Дневник, 29/VI 1857 г.
[2] Дневник, 16/II 1858 г.

переносит в эпоху реформации, крестьянских и плебейских движений, хотя бы тех же таборитов, дававших поэту вдохновение, несмотря на то, что его исторические знания о них были весьма ограничены; едва ли идут они далее того, что „старый Жижка из Табора махнул булавою“.

По поводу этой библейско-евангельской формы социальной поэзии Шевченка правильно замечание А. В. Луначарского: „Крестьянские войны в Германии XVI века и движение пуритан в Англии XVII века, нашедших свою идеологию в Библии, духом, культурным уровнем своими наиболее напоминают духовный тип поэзии Шевченка. Томас Мюнцер, великий вождь крестьян, анабаптисты и левеллеры, некий Иван Лейденский — вот люди, которые скорее всего поняли бы всю душу Шевченка, душу, в которой стремление к правде, равенству, счастью для всех, скорбная любовь и великодушный гнев облечены еще в религиозные одежды неоформленного старого мировоззрения“ [1].

Эта идейная связь мировоззрения поэта с средневековыми „предшественниками новейшего социализма“ настолько значительна, что необходимо сделать некоторые сравнения для ее анализа и дальнейших выводов. Почти все мысли Кобзаря можно найти в ереси эпохи Реформации, „бывшей прямым выражением крестьянских и плебейских потребностей и почти всегда связанной с восстанием“. Такая крестьянско-плебейская ересь, как выяснил Энгельс, была углублением буржуазной, бюргерской ереси городов. Она „разделяла все требования буржуазной ереси относительно попов, папства и восстановления первобытного устройства христианской церкви, но в то же время шла бесконечно дальше. Она требовала восстановления равенства, существовавшего между членами общины у первобытных христиан, и признания этого ра-

---

[1] А. Луначарський, „Шевченко і Драгоманов“, статья в сборнике памяти М. Драгоманова, Харьков, 1920 г. Цитата переведена из украинского издания за неимением русского оригинала. — *А. Р.*

венства нормой и для буржуазного мира... Уравнение дворянства с крестьянством, патрициев и привилегированных граждан с плебеями, упразднение барщины, поземельной подати, налогов, привилегий и по крайней мере наиболее резких различий в имуществе — вот те требования, которые выставлялись с большею или меньшею определенностью как необходимые выводы из доктрины первобытного христианства“ [1].

Не приходится доказывать, что и Шевченкова борьба против „византийства“, за простую, ясную истину апостольского учения, за братолюбие и равенство („и царята и нищие — Адамовы дети“), за истину, оскверненную лжеучителями, попами и прелатами („так называемые учителя вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе“), и его идеализация первобытного христианского коммунизма, отношение к барщине и податям — все это сближает его с крестьянско-плебейскими движениями эпохи Реформации. Есть и социальные причины такой близости между эпохами и людьми, отделенными тремя столетиями. Средневековые плебеи, не имевшие никакой собственности и никаких прав, задавленные податями, вытесненные из рамок феодальных отношений и игнорированные феодальными учреждениями, в некотором отношении напоминают и шевченковских батраков („наймитів“), также лишенных собственности, также вытесненных даже из крепостной общины, также задушенных подушной податью и панщиной. И там и здесь „хилиастические грезы первых веков христианства“ (Энгельс) могли находить среди этих слоев подходящую почву, что и приводило их к неопределенному предвосхищению фантазией неопределенного коммунизма.

Табористское движение после своей победы пробовало воплотить в жизнь эти идеалы христианского равенства и общности имущества, что вызывалось военною необходимостью — своего рода „военный коммунизм“

---

[1] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, Госиздат, Петербург, 1921 г., стр. 46.

средневековья в пределах города Табора с окрестностями. В учении таборитов были и такие пункты:

„В это время на земле не должно быть ни королей, ни властелинов, ни подданных; налоги и подати должны быть уничтожены; никто не может принудить к чему-либо другого, ибо все должны быть братьями и сестрами.

Подобно тому как в городе Таборе нет ничего твоего или моего, но все общее, так и для всех людей все должно быть общим, и никто не может иметь собственности; кто же ее имеет, тот творит смертный грех“ [1].

Всю эту программу целиком находим в поэтическом творчестве Тараса Григорьевича. О каком-нибудь заимствовании здесь говорить вряд ли приходится. Скорее, связь эту нужно искать в социально-исторических условиях. Поэт, как уже отмечено выше, протестует против торговли землей, данной всем, говорит о совместной жизни без дележа имущества, мечтает о равенстве и безвластии. Он же рассуждает по поводу царских палат, что

Як би то, думаю, як би
Не похилилися раби,
То не стояло-б над Невою
Оцих осквернених палат.
Була-б сестра і був би брат;
А то... нема тепер нічого...

Если бы, думаю, не покорились рабы, то не стояли б над Невою оскверненные палаты; была бы сестра и был бы брат; а то... нет теперь ничего...

Но нигде сходство идей Шевченка с идеями крестьянско-плебейских элементов эпохи Реформации не выступает так ярко, как если мы сравним учение вождя крестьянской войны Томаса Мюнцера и социальную поэзию Тараса Шевченка, проповедника такой войны. Это сходство в идеологии, тактике и даже в личном характере этих двух людей, разделенных тремя веками, настолько замечательно, что Шевченка можно было бы считать последователем Мюнцера, если бы допустить знакомство с его учением нашего поэта, для которого,

[1] К. Каутский, „Предшественники новейшего социализма“, ч. 1, изд. 1919 г., стр. 213.

однако, в биографии Тараса Григорьевича нет никаких данных.

Мюнцер действовал в 20-х годах XVI столетия как представитель и вождь революционной плебейской партии в противовес буржуазной реформации Лютера. Свое учение он высказывал в религиозной форме. „Его теолого-философская доктрина критикует все основные пункты не только католицизма, но и христианства вообще. Под христианскими формами он учит пантеизму... местами обнаруживает даже признаки атеизма“ [1]. Он проповедует, что человек „должен знать, что бог пребывает в нем, что он не выдуман, не находится за тысячи миль от него, но что небо и земля полны бога“ [2].

Интересно сравнить с этим запись Шевченка в дневнике от 11 июля 1857 года, в которой „присутствие всемогущего творца вселенной во всем видимом и невидимом нами мире“ называется старой, как мир, истиной. Как видим, эти двое людей говорят одинаковым языком, несмотря на трехсотлетие, их разделяющее.

Правда, между вожаком плебейско-крестьянской войны XVI века и украинским поэтом-бунтарем XIX века стоял более близкий к Тарасу Григорьевичу по времени и месту, а также и по своей религиозной философии, украинский бродячий философ XVIII века Григорий Сковорода, который своей критикой религии и церковщины, своим пантеизмом, соединением бога с природой и жизнью среди нее, несомненно повлиял и на Шевченка. Сам поэт иногда вспоминает Сковороду, хотя и не увлекается им. Как выразитель протеста батрацко-крепостных низов общества против царско-помещичьего гнета, Шевченко все же остается более близким к далекому по времени и месту революционному вожаку Мюнцеру, чем к своему недалекому предшественнику, одинокому среди современного ему общества эгоцентрику, все же буржуазному философу-гуманисту Сковороде.

---

[1] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, стр. 56.
[2] К. Каутский, „Предшественники новейшего социализма“, стр. 271.

Христа Мюнцер считал, так же как и Шевченка, не богом, а человеком, учителем и пророком. Его философия, как и у Шевченка, через пантеизм как переходную ступень, приближалась к атеизму, а политическая программа — к коммунизму. „Эта программа, — говорит Энгельс, — не столько обобщение требований тогдашних плебеев, сколько гениальное предвосхищение освободительных требований едва развивающихся среди этих плебеев пролетарских элементов, — эта программа требовала немедленного установления царства божьего“ на земле, под которым Мюнцер понимал „состояние общества, в котором нет ни классовых различий, ни частной собственности, ни самостоятельной государственной власти, чуждой членам этого общества. Все существующие власти должны быть низвергнуты, если они не подчинятся и не примкнут к революции; все работы и все блага должны стать общими, и должно быть введено полнейшее равенство“ [1]. Для осуществления этой программы он, как и Шевченко, проповедует восстание против князей и рыцарей, которых считает „главными ростовщиками, врагами и разбойниками“, которые „обирают и сдирают шкуру с крестьян и ремесленников“. „Эти господа, — говорит Мюнцер, — ведут себя так, что бедный человек становится их врагом“. Поэтому, заканчивает Мюнцер, „я буду возмущать народ“. В другом своем агитационном произведении Мюнцер разоблачает властителей своего времени, превративших бога в „размалеванного человечка“ (чем хуже „суздальские идолы“ у Шевченка?). Он предвещает, что „низшие будут возвышены“ „и погибнут сильные безбожные тираны“ [2].

Все эти взгляды Мюнцера, его призывы к восстанию, ненависть против попов, князей и рыцарей, его программу христианского коммунизма — все это с теми или иными отличиями, соответствующими отличиям новой эпохи, находим и в творчестве поэта-Кобзаря. Мюнцер дей-

---

[1] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, стр. 57—58.
[2] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, стр. 59—60.

ствовал в эпоху феодализма с властью князей и римской церкви и был представителем крепостных крестьян и плебеев, а Шевченко писал в эпоху крепостнического абсолютизма с властью царя, помещиков и византийской церкви; его социальная среда — те же крепостные крестьяне и наемные работники. Между ними есть сходство и есть отличие. В обоих этих людях одинакова общественная база — порабощенные крепостные крестьяне, плебеи и батраки, одинаково их общественное сознание, одинакова классовая ненависть к угнетателям. Некоторое различие лишь в объектах этой ненависти: там — князья и рыцари, здесь — цари и помещики, но в общем и здесь и там угнетателями являются дворянство, духовенство и феодально-крепостническая церковь. Различие в том, что Мюнцер был вождем масс в революционную эпоху, а Шевченко-поэт лишь проповедывал такую революцию „мести и казни“ для угнетателей.

Интересно отметить, что и у Мюнцера и у Шевченка с ходом их развития проповедь становилась все более резкой. Особенно если принять во внимание, что на деле проповедь обоих этих революционеров из христианского коммунизма превращалась в буржуазный республиканизм.

Во времена действия обоих этих людей класс-носитель идеологии коммунизма едва только нарождался. Как и шевченковские „наймиты“ (батраки), так и мюнцеровские плебеи являлись только зачатками пролетарской общественной формации; в лице их современный пролетариат видит своих предшественников, в лице их нарождался в феодально-крепостническом обществе тот предпролетариат (Vorproletariat, по выражению Энгельса), который становится современным пролетариатом лишь на основе буржуазного общества.

По характеристике Энгельса, „Мюнцер теперь весь пророк революции; он непрестанно раздувает ненависть против господствующих классов, разжигает самые дикие страсти и говорит только в тех выражениях, которые вкладывал в уста ветхозаветным пророкам религиозный

и национальный экстаз“ [1]. Эту характеристику без всяких изменений можно приложить и к творчеству нашего поэта, особенно к концу его жизни. В самом деле, если припомнить его революционный юмор (свойственный и Мюнцеру в молодые его годы) в поэтическом памфлете „Сон“ и сравнить его с проповедью казней, мести и ненависти в последних произведениях, которым свойственен не только ветхозаветный экстаз, но и библейская тематика (разные „подражания“ пророкам), то аналогия с Мюнцером станет наглядной. Причина этой аналогии лежит не в сходстве личных характеров этих двух людей разных эпох, а в сходстве их социальных характеров. Мюнцер выделился из буржуазно-лютеранской реформы как представитель крестьянско-плебейской революции; сначала он призывал князей присоединиться к народу, а в конце разжигал против них „самые дикие страсти“. Шевченко выделился из помещичье-буржуазного либерализма, сначала призывал своих земляков-помещиков обнять меньшого брата, а в конце обещал их кровью собак напоить.

В обоих этих случаях причина обострения классовой ненависти представителей наиболее угнетенных слоев общества лежит в распаде объединенной вначале оппозиции против старого строя. Умеренная партия этой оппозиции (Лютер с городами, дворянством и князьями в XVI веке, украинская казацкая старшина в 1648—1649 годах, либеральная буржуазия в революциях XIX—XX веков) после первых бурь предает народные массы, поднявшиеся на борьбу, и бросается в объятия реакции. Это углубляет раскол и обостряет классовые противоречия. Такую же эволюцию от бури в стакане воды в смысле общественного ее значения пережили и приятели Тараса Григорьевича из образованных помещиков и кирилло-мефодиевских братчиков. Репрессия со стороны царизма, а затем и отдаленный гром европейской революции 1848 года повергли их к стопам абсолютизма. А Шевченко остался

[1] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, стр. 120.

со своими невольниками-мужиками и батраками, что и определило углубление его революционной и социальной поэзии.

Из этого сравнения идеологий и людей, разделенных тремя веками, может встать вопрос: что же вытекает из произведенного сравнения и не говорит ли это сравнение против Шевченка? Мюнцеровская идеология, порожденная стремлениями едва только народившихся в феодальном обществе пролетарских элементов, гениально предвосхищала освободительные коммунистические требования современного пролетариата. Мюнцер ничего общего не имеет с научным коммунизмом, но он стоит на том историческом пути общественного развития, который в дальнейшем неизбежно ведет к современному пролетарскому движению. Но мюнцеровская идеология у поэта XIX века, пишущего свой „Кобзарь“ в эпоху, когда уже Маркс и Энгельс заложили основания новейшего научного коммунизма и материалистического мировоззрения, — не является ли для этой эпохи христианский революционизм делом безнадежно реакционным, несмотря на его примитивно-коммунистическую окраску?

Но так ставить вопрос нет никаких общественно-исторических оснований. Хотя Мюнцер и высказал свои намеки еще в XVI веке, но „и после Мюнцера, — по свидетельству Энгельса, — мы с ними вновь встречаемся во всяком крупном народном движении, пока они постепенно не сливаются с современным пролетарским движением“ [1], „и многие современные коммунистические секты не имели еще накануне Февральской революции (1848 г.) более обильного теоретического арсенала, чем „мюнцеры“ XVI столетия“ [2]. И это — в Европе, с ее экономическим и культурным развитием, с ее капитализмом. Что же говорить об архаической, почти целиком феодальной России 1840–1850-х годов, в том числе и об Украине, задержанной абсолютизмом на культурном уровне XVII–XVIII века?

---

[1] Фр. Энгельс, „Крестьянская война в Германии“, стр. 48.
[2] Там же, стр. 57.

На почве крепостнических отношений в царской России в период наибольшего могущества абсолютизма, подавлявшего революции даже вне своих пределов (венгерский поход 1848 г.), в период могущества крепостного права, могущества, зашатавшегося лишь после крымского поражения 1853–1855 годов, когда русский капитализм едва лишь становился при помощи царской власти на свои хилые ноги, то есть в условиях, когда буржуазно-капиталистическое общество еще не существовало, а только на его основе развивается рабочий класс, — в таких условиях не могла развиться и классовая пролетарская идеология, а головы наиболее угнетенных слоев такого общества не могли еще вместить в себе Марксового коммунизма, даже если бы слышали о нем, чего на самом деле в отношении Шевченка утверждать нельзя.

Но ведь такие элементы крепостного общества, как батраки, вытесняемые из его рамок, подвергающиеся гнету и эксплоатации на почве наемного рабства, не избавляясь и от рабства крепостного, — такие элементы в своих мечтаниях не могли не выходить за пределы „свободного“ найма, хотя, может быть, во многом и предвосхищали эти буржуазные отношения (республиканизм, формальное равенство, свобода эксплоатации наемного труда и т. д.).

На такой начальной ступени своего развития эти предпролетарские элементы не могли отразить в своем сознании ничего больше, чем мюнцеровский коммунизм. И Шевченко в поэтическом творчестве своем приходит к представлениям, сходным с учением Мюнцера, в силу того, что оно отражает неосознанные стремления зародышей пролетариата в крепостном обществе к лучшей жизни, без холопа и без пана, то есть без классового гнета и эксплоатации. А так как эти предки украинских пролетариев, крепостные батраки являются продуктом разложения крепостного крестьянства, как и весь современный русский и украинский пролетариат происходит по преимуществу от крестьянства, то и их представления о своем освобождении не выходят за пределы „веселых сел“.

Как Мюнцер со своими плебеями XVI века, так и Шевченко со своими батраками стоит на том фланге общественных отношений, который в своем развитии приходит к современной классовой борьбе пролетариата и к новейшему коммунизму Маркса—Энгельса.

С этой точки зрения и беспредельное бунтарство Шевченка, и его полный нигилизм по отношению ко всем опорам официального общества, отрицание религии, но в религиозной же форме, становятся понятными как проявления нарождающегося в недрах крепостных отношений предпролетариата, с его бессознательным протестом и порывами, с его бесформенной еще классовой природой. Собственно, появление внутри крепостного общества таких наиболее обездоленных батрацких социальных элементов, вытесненных уже из рамок патриархальных отношений и придавленных кроме рабства крепостного еще и рабством наемного труда,—появление таких элементов и характеризует нестерпимость дальнейшего существования крепостного ига. Они, естественно, наиболее остро должны были чувствовать на своих спинах противоречия крепостнического строя. Эти батрацко-бедняцкие элементы были выразителями особенной напряженности социальной атмосферы в крепостной деревне. Эта напряженность социальной атмосферы, переливаясь в поэзию Шевченка, и делает ее такой динамической, каждым словом, каждым движением мысли разрывающей удушливую атмосферу, стремящейся к уничтожению всех основ угнетательского общества, отрицающей все существующее, все освященное охранительными силами идеологии господствующих классов. Говорить: „Будем, брат, из батряниц портянки рвать, трубки от кадил закуривать, „явленными" печь топить, кропилами будем, брат, новую хату выметать",—так говорить мог предшественник лишь того антирелигиозного класса, который окончательно расквитался с богом и со всякой другой чертовщиной, став на точку зрения последовательно-материалистического мировоззрения.

Характерно, как почти интуитивно мужицко-пролетар-

ская природа Шевченка тянула его к материализму. Правда, ему недоступен (и неизвестен) был материализм Фейербаха — Маркса — Энгельса, но он знал о французском материализме XVIII века и о немецком идеализме XIX века.

Как же он реагирует на них в период увлечения русской интеллигенции немецкой идеалистической философией? Об этом имеются намеки в дневнике Тараса Григорьевича, но и эти намеки кое-что говорят. Шевченко записывает свои впечатления от прочитанной книги Либельта об эстетике и так характеризует ее автора: „Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует и думает по-немецки. Или по крайней мере пропитан немецким идеализмом... Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский". Там же Тарас Григорьевич вспоминает, как некогда Жуковский „нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавливающими к грешной земле божественное, выспреннее искусство", и по сему поводу издевается над „длинными безжизненными мадоннами" „немецких идеалистов живописи" [1]. В последующих записях Шевченко уже несколько мягче относится к автору за то, что последний немного умерил свой идеализм. „Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах" [2], — спешит заметить по сему поводу Шевченко. Такая похвала идеалисту за то, что он проговорился материалистической мыслью, показывает Шевченка как представителя революционного класса и революционной мысли.

Материализм на разных ступенях своего развития всегда выступал в роли идейного оружия передовых клас-

---

[1] Дневник, 9/VII 1857 г. Разрядка моя. — *А. Р.*
[2] Дневник, 11/VII 1857 г. Разрядка моя. — *А. Р.*

сов против реакционных. Материализм Шевченка носит натуралистический характер, как и у французских материалистов, на которых он опирается. Он, например, отрицает ту идеалистическую мысль, что художник-творец стоит выше своей натуры. „Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природою, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами“ [1]. Почему Шевченко не предпочел немецкий идеализм французскому материализму? В обоих случаях представительницей этих философских течений выступала буржуазия. Но французская буржуазия накануне Великой революции выступала как революционная сила против феодализма и все его основы подвергала критике разума; материализм стал оружием против старого строя, в частности против духовенства. Немецкая же буржуазия (так же как и российская) не была революционной, а развивалась под крылышком абсолютизма. И в философии своей она была идеалистична. Материализм продолжал развиваться уже как диалектический материализм, как философия пролетариата. Шевченко-революционер не мог принять „тощего, длинного“ идеализма, так как он рвался вперед, а его ненависть к абсолютизму, дворянству, византийству и к крепостничеству роднила его с французскими материалистами и энциклопедистами, которые силу своей философии обращали тоже против дворянства и духовенства. Можно возразить, что такое сочувствие натуралистическому материализму еще не означает зарождения в нем пролетарского мировоззрения, что, может быть, этим материализмом он лишь предвосхищал буржуазную демократию. В известной степени это так и есть. Несомненно, что Шевченко своими лозунгами свободы, равенства и братства, упорной царефобией без четкости позиции в сфере социально-экономической борьбы мог содействовать формированию идеологии буржуазии, если бы, однако, буржуазия эта (русская и украинская) развивалась револю-

---

[1] Дневник, 12/VII 1857 г.

ционным путем. Но ведь этого не было. Буржуазия тех и позднейших времен, в общем развивая свою торговлю и промышленность под эгидой абсолютизма („мирная промышленность не может иначе процветать, как под эгидой власти“, по замечанию Шевченка в дневнике), и в идеологии своей стояла на идеалистических позициях. И наоборот, русский „нигилизм“ с его натуралистическим материализмом знаменовал нарождение российского пролетариата, несмотря на то, что и он был весьма далек от исторического материализма и значительно более близок к французским энциклопедистам, хотя и в нем заложено было много элементов буржуазно-демократической идеологии.

Такое переплетение и в русском „нигилизме“ и у Шевченка элементов буржуазной идеологии с революционностью и зачатками пролетарского мировоззрения предвосхищало роль русского (и украинского) пролетариата как единственного носителя и гегемона революции, даже и буржуазно-демократической. История эту его роль подтвердила.

Поскольку немецкая идеалистическая философия в своих построениях и выводах была реакцией буржуазии после Великой французской революции, постольку материалистические идеи нашли свое продолжение в материалистической философии пролетарского движения, взявшего из реакционной по своим выводам гегелевской идеалистической философии ее революционный метод — диалектику. От Мюнцера, натуралистического материализма и пантеизма, близкого к атеизму, имея в основе предпролетарский общественный слой, подвергаясь влиянию идей утопического социализма, в частности фурьеризма, стоя на его уровне, соответствовавшем уровню „незрелого состояния капиталистического производства и незрелому классовому сознанию“ („Анти-Дюринг“ Энгельса), Шевченко в дальнейшем развитии его идей мог стоять только на том пути, который неизбежно ведет к классовой пролетарской идеологии.

И это не только предположение, это есть вывод из

социальной эволюции идеологии Шевченка. Мы не знаем, имел ли какие-нибудь сведения поэт о немецком коммунизме Маркса и Энгельса, но мы знаем, что среди передовых слоев русской интеллигенции значительное влияние в 40-х годах имели идеи утопического социализма; в частности кружок петрашевцев, с отдельными членами которого Шевченко поддерживал связи, находился под влиянием фурьеризма. Один из членов Кирилло-мефодиевского братства, помещик Савич, также был фурьеристом. А один из украинских либеральных сахарозаводчиков, помещик Семеренко, под влиянием Фурье в своем имении устроил даже нечто вроде фаланстера, и в этом „фаланстере“ бывал и Шевченко. В произведениях петрашевцев и в творчестве Шевченка находим много созвучных мотивов [1]. Если к этому прибавить связь Шевченка с польскими революционерами во время пребывания в Варшаве со своим паном Энгельгардтом, вскоре после польского восстания 1830 года, и особенно во время ссылки, если принять во внимание его преклонение перед декабристами и почитание Герцена,—в общем, если взять чуткое реагирование поэта на все революционное и принять во внимание, что поэт жил в эпоху европейской революции 1848 года, разразившейся через год после его ареста, то невозможно допустить, чтобы Шевченко ничего не знал о том „призраке коммунизма“, который, по выражению „Коммунистического манифеста“, „бродит по Европе“. Этот призрак, возможно, проникал и через китайские стены николаевской России. Не могло, например, остаться неизвестным русскому обществу июньское восстание парижского пролетариата в 1848 году. А может быть, в либеральных салонах со страхом говорили и о славном Союзе коммунистов (с Марксом и Энгельсом во главе), о его заговорах против „порядка“.

Шевченко в это время находился в далекой закаспийской ссылке, в крепостной казарме, оторванной от куль-

---

[1] См. О. Дорошкевич, „Шевченко і петрашевці в 40-х роках“, зб. 2-й „Шевченко та його доба“.

турного мира. Тем не менее он откликается и на идеи коммунизма, правда уже в конце 50-х годов. В своей повести 1858 года „Прогулка с пользою и не без морали“ он бросает такую фразу: „Выходит, что идея о коммунизме не есть только пустая идея, не глас вопиющего в пустыне, но что она вполне пригодна и для настоящей прозаической жизни. Слава и честь борцам за новую цивилизацию!“ В своем дневнике по поводу Стеньки Разина Тарас Григорьевич записывает 29 августа 1857 года мысль, что „Разин не был разбойником, а он только на Волге брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит“. Восторженно принимая идею коммунизма, как идею новой цивилизации, Шевченко ее воспринимал на основе незрелых еще производственных и общественных отношений, воспринимал ее в примитивном утопическом смысле. Но уже само по себе приятие коммунизма ставит поэта на почетное место в рядах пролетариата, того пролетариата, который провозгласил коммунизм как практическую идею, то есть класса промышленного пролетариата, бывшего в то время в зародышевом состоянии на Украине и в России, класса, идеи которого могли доноситься сюда лишь как отзвуки немецкой революции и парижского восстания.

Но крепостной и батрацкий поэт так чутко воспринимает все подобные отзвуки лишь потому, что сам он отражал нарождение рабочего класса в лице предпролетарских социальных элементов крепостного села, рабов крепостного и наемного труда.

Это предпролетарское социальное содержание выявляется в творчестве Шевченка, особенно к концу его жизни, не только в мировоззрении поэта, но и в революционном порыве, устремленном в будущее. Поэт не только в прошлом искал лучшую жизнь, чему отдал свою дань в виде исторического романтизма, но в последних своих произведениях, наоборот, он весь в будущем. Такова диалектика развития мужика в пролетария. Он неустанно зовет к восстанию, пророчит гибель

царям, помещикам и попам и активно верит в освобождение трудящихся людей. На вопрос:

Будет ли суд? будет ли кара
Царям, царятам на земле?
Будет ли правда на земле? —

поэт уверенно отвечает: „Должна быть! иначе солнце остановится и сожжет оскверненную землю!..“

Поэт глубоко убежден, что это освобождение неизбежно близится: „Солнце идет и за собою день ведет. Уже шевелятся хребетно-сильные цари... И будет правда на земле!..“

Последние годы своей жизни Шевченко с наибольшей силой стремится в будущее. Активность и динамизм его поэзии в это время достигают наивысшей точки. Между тем как все „образованное общество“ жило разговорами и надеждами на отмену царской милостью крепостного права, Шевченко в это время всего более нападает на царизм. Шевченко был в курсе подготовлявшейся крестьянской реформы. Об этом свидетельствуют его записи в дневнике, его переписка, однако в поэзии его эта „великая реформа“ не находит никакого отражения. Да и в его дневнике и в переписке мы не находим особенного энтузиазма по поводу ожидавшегося „освобождения крестьян“. Во время иллюзий и веяний либерализма, во время надежд на „эру великих реформ“, которыми жили либеральные современники поэта, он не поддается этим иллюзиям, ибо положение крепостного, бедного батрака, мало могло измениться в результате царской отмены крепостного права, направлявшейся лишь на пользу помещикам. Свергнуть царизм, разбить трон и установить новый порядок вещей „на обновленной земле“ — лишь так представляет себе поэт „желанную свободу“. Он мечтал о значительно большем:

Будет бито
Царями сеянное жито,
А люди вырастут. Умрут
Не зачатые еще царята —

И на обновленной земле
Врага не будет, супостата,
А будет сын и будет мать,
И будут люди на земле.

Вот это желание такого обновления земли, чтобы не было среди людей врага и супостата, а были бы просто люди на земле, в замаскированной поэтической форме, но ясной во всем комплексе социально-поэтического действия поэта, выявляет его стремление к неразделенному человеческому обществу, то есть к бесклассовому обществу. А для достижения его необходимо массой готовиться и организоваться, чтобы победить в борьбе, а не рабски ожидать добра от царской милости.

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола
Її приспав, а щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.

Не жди добра, не жди желанной свободы — она заснула: ее усыпил царь Николай, а чтобы разбудить захиревшую свободу, нужно миром, обществом обух сталить, хорошо наточить топор да и начать тогда будить.

Шевченко призывает здесь к революционному завоеванию свободы путем организованного восстания, на что раздробленное и придавленное крестьянство не было способно. Поэтому в историческом аспекте такой призыв означает предвидение (скорее интуитивное, чем исходящее из осознания процесса исторического развития, в такой же мере, в какой и утопический социализм был интуитивным, а не научным предвидением будущего) общества, способного организованно отрубить голову царско-помещичьему строю. Таким обществом стал современный промышленный пролетариат. Шевченко чувствует, что должна выступить новая сила и дать новое слово, то есть новую программу, новое мировоззрение для преобразования общества и обновления земли. Это новое должно уничтожить все старое, отжившее, сгнившее. Старые средства и старые идеи непригодны, чтобы будить ими свободу. Поэт не может конкретно сказать,

какое же это новое слово, он его предвидит и к нему стремится. Он высказывает это в следующих строках:

Скажи їм ось що: брешуть боги,
Ті ідоли в чужих чертогах!
Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене
Не ветхее, не древле слово
Розтліннее, а слово нове
Між людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе
Од ласки царської...

Скажи им вот что: врут боги, те идолы в чужих чертогах! Скажи, что правда оживет, вдохнет, накличет, нагонит не ветхое, не древнее растленное слово, а слово новое между людьми криком пронесет и ограбленный народ спасет от царской милости...

Шевченко не мог найти это новое слово. Слишком узка у него была основа, чтобы предвидеть процесс развития его общественного слоя, нижайшего слоя в крепостном крестьянстве — бедноты, батрачества, угадать его будущую историческую роль в качестве трудового пролетариата последующей буржуазной эпохи. Это новое слово пришло с Запада, вооруженное наукой и философией, созданной прогрессом капитализма и восхождением свежей общественной силы, замухрышки с гигантским телосложением — пролетариата. И это новое слово между людьми криком пронеслось, а слово это: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“

Однако поэт уже видит некоторые тенденции этого нового развития и новой общественной силы. В прогрессе техники ему представляется освобождение человечества, он предвидит великую революционизирующую роль машины, но ему неясно еще, как она произведет революцию, через какую социальную силу. За ревом машины ему слышится некая могущественная сила, которая даст измученному человечеству свободу и отдых. С этой точки зрения пророчество поэта о машине становится гениальным предвидением социальной революции, той революции, к которой он так вдохновенно призывал невольников-рабов, сам не представляя себе ее конкретных черт. Звуки скрипки „вольноотпущенника, крепостного Паганини“, буфетчика волжского парохода, звуки под аккомпанемент рева паровой машины навеяли на поэта это пророчество.

„Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем, с раскрытой огромной пастью, готовою поглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон и великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно“ [1]. Поэт лишь мечтает, чтобы время это настало как можно скорее.

В этом пророчестве уже не для Украины, а для всей планеты предчувствуется освободительная миссия пролетариата, рожденного, объединенного и сплоченного в крепкую силу на основе развития машинного производства. Такого пророка и предвестника социальной революции мог дать только тот класс, который уже в условиях крепостнических отношений чувствовал свою великую историческую роль — быть могильщиком капиталистического общества.

Поэтому пролетариат, украинский в частности, видит в лице Шевченка одного из своих предсоциалистических предшественников, предвестника своей освободительной миссии.

XI. ПРОБЛЕМА НАЦИИ У ШЕВЧЕНКА

Теоретическое освещение проблемы нации в творчестве Тараса Григорьевича и во всей совокупности его национально-революционной идеологии представляет самостоятельный интерес с точки зрения выяснения не только общественно-исторического значения великого Кобзаря, но и всего украинского исторического процесса времен формирования и развития капитализма с его внешним вы-

---

[1] Дневник, 27/VIII 1857 г.

ражением в формировании и движении нации как одной из форм развития самого капитализма.

Для марксизма-ленинизма нация не есть вечная категория общественного развития и не является основой общества. Жизнь, строение и развитие общества зиждутся на другой основе — на основе развития производственных отношений и классовой борьбы. Однако на определенном длительном этапе развития общества нация является серьезным его фактором, представляя некую общность, определенную форму общественного развития.

„Нация — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни, психического склада, проявляющегося в общности культуры“ [1]. Однако „нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации“ [2]. Докапиталистические общества, в частности феодализм, не знали нации, не знали и выражения ее бытия — национального движения. Достаточно отметить, что один из главнейших признаков нации, общность языка, то есть национальный литературный язык как средство соединения людей в нацию, не существовал в докапиталистическом обществе. Феодализм, например, в качестве языка письменности, культуры и науки знает язык религии, представлявший универсальную основу идеологии его господствующих групп, язык латинский, древнеславянский и другие, язык, на котором не говорила никакая народная масса. Разобщенная на отдельные, замкнутые экономически и культурно отсталые племенные группы, народная масса говорила племенными диалектами.

Победное шествие капитализма, ликвидация феодальной

---

[1] Сталин, „Марксизм и национальный вопрос“, Сб. „Марксизм и национальная проблема“, ГИУ, 1923, стр. 220.

[2] Там же, стр. 225.

равобщенности в бурях классовой борьбы и буржуазных революций создавала и нацию, складывавшуюся через пробуждение масс от феодальной неподвижности, через национальное движение. „Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе... Образование национальных государств, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является поэтому тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и для всей Западной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — типичным, нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное государство“ [1]. По Ленину, „национальное государство есть правило и „норма“ капитализма; пестрое в национальном отношении государство — отсталость или исключение“ [2].

Исторически сложилось так, что на западе Европы господство получила „норма“, на востоке — „исключение“. На западе образование наций шло одновременно с превращением их в самостоятельные национальные государства, за исключением разве Ирландии. „Несколько иначе происходит дело в восточной Европе. В то время как на Западе нации развились в государства, на Востоке сложились междунациональные государства, — государства, состоящие из нескольких национальностей... Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях не ликвидированного еще феодализма, в условиях слабо развитого капитализма, когда оттертые на

---

[1] Ленин, Соч., т. XIX, Гиз, 1924, стр. 98.
[2] Там же, стр. 101.

задний план мелкие и отсталые национальности не успели еще экономически консолидироваться в целостные нации“ [1].

Но капитализм развивается и здесь. Проникая в отсталые, аграрные, неисторические нации, он революционизирует их общественные отношения, пробуждает их к национальной жизни, создает экономическую основу для их консолидации. „Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства: они встречают на своем пути сильнейшее сопротивление со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали!.. На Западе Ирландия ответила на исключительное положение национальным движением. На Востоке проснувшиеся нации должны были ответить тем же“ [2]. В роли носителя национально-освободительных стремлений выступает молодая национальная буржуазия угнетенных наций, прикрывающая свои эксплоататорские поползновения лозунгами „отечества“, „свободы родного края“ и т. д. В национальную борьбу втягиваются крестьянские массы и даже пролетариат, но от этого она только внешне принимает „общенародный“ характер, оставаясь по сути буржуазной. Борьба за национальное освобождение и создание национального государства становится здесь проблемой буржуазно-демократической революции.

С точки зрения вкратце изложенной марксо-ленинской теории нации мы и подходим к анализу проблемы нации в украинском движении эпохи кирилло-мефодиевцев и Шевченка и отражения ее в творчестве последнего. Критерий марксизма-ленинизма в подходе к этой эпохе развития от феодализма к буржуазной демократии, эпохе пробуждения украинской нации от феодальной спячки и яркого выражения его в национальном движении 40-х—50-х годов прошлого столетия, к эпохе, отображенной и в творчестве Шевченка, состоит в признании прогрес-

---

[1] Сталин, цит. соч., стр. 225—226.
[2] Там же, стр. 226.

сивности такого движения: „Прогрессивно пробуждение масс от феодальной спячки, их борьба против всякого национального гнета, за суверенность народа, за суверенность нации“ [1]. Однако размер и характер этой прогрессивности для разных времен и разных наций различны в зависимости от конкретной исторической обстановки, от характера классовых отношений и классовой борьбы, определяющих и характер национального движения.

То, что Украина является нацией со всеми свойственными ей признаками, не требует доказательств. Но важно подчеркнуть то положение, что нация определяет себя через национальное движение, созданием национального государства или в борьбе за него. Следовательно, там и тогда, где и когда можно найти все признаки нации как исторической общности, но нация еще не выявляет тенденций к созданию самостоятельного национального государства или же к борьбе за него, можно говорить лишь о нации в себе. Только проявляя себя в национальном движении с тенденцией к государственной самостоятельности в буржуазном обществе, она становится нацией для себя.

Итак, отношение руководящих сил национального движения эпохи подымающегося капитализма к проблеме своего национального государства является для нас критерием выведения проблемы нации из их идеологии.

В обстановке национального угнетения капиталистическая эпоха ставит перед буржуазией угнетенных наций задачу осуществления своего национального самоопределения путем создания национального государства, являющегося для них проблемой буржуазно-демократической революции.

Но историческая линия революции показывает, что чем далее на восток Европы, тем менее способна была буржуазия к осуществлению буржуазной же революции. Поздно выступая на историческую сцену, становясь на ноги не в борьбе с феодализмом и абсолютизмом, а

---

[1] Ленин, Соч., т. XIX, стр. 52.

в торгашестве с ним, имея за спиной уже активный пролетариат, восточноевропейская буржуазия (в том числе русская и украинская) боялась его больше, чем старого режима, поэтому никогда не была последовательно-революционной, отличаясь этим от более раннего типа буржуазии западноевропейской.

Еще Маркс отметил это отличие немецкой буржуазии от французской; выяснению еще более трусливой и предательской роли русской буржуазии много внимания посвятил Ленин, а в манифесте I съезда РСДРП это отличие восточной буржуазии от западной сформулировано как исторический закон: „Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия, тем большие культурные, политические задачи выпадают на долю пролетариата". Этим определяется и предательская роль восточноевропейской буржуазии в буржуазной революции, ее позиция соглашательства с самодержавием и страх перед пролетариатом. Поэтому чем дальше на восток, тем больше носителем революции (и буржуазной) становится пролетариат, доводящий буржуазно-демократическую революцию до конца, чтоб перевести ее на высшую ступень революции пролетарской, которая во времени почти совпадает здесь с буржуазной революцией.

Украинская буржуазия всем своим историческим развитием, в том числе и в национально-освободительном движении, принадлежит к восточноевропейскому типу буржуазии. Даже социальными корнями своего исторического происхождения она больше опирается на обуржуазившегося среднего помещика, чем на городского торговца, и еще со времен кирилло-мефодиевцев свою программную линию национального освобождения ведет не через революцию, а в духе „кротости и миролюбия", и не ради создания своего национального государства, а во имя племенной автономии (у кирилло-мефодиевцев), во имя принципиального федерализма у Драгоманова.

Этот последний хотя и утверждал, что Украина является нацией, но разработал для этой нации такую про-

грамму национального освобождения, которая отрицает необходимость борьбы за национальное государство и с точки зрения своего нигилизма в отношении государства считает софизмом тот взгляд, что „основою для политической деятельности в настоящее время служит государство, а не национальность“ [1].

Будучи в национальном вопросе продолжателем теоретической и программной линии, данной кирилло-мефодиевскими братчиками (в лице Костомарова), Драгоманов сделался идейным отцом дальнейших поколений украинской мелкой буржуазии, которая никогда не вела национально-освободительное движение революционно, а всегда ставила его задачи реформистски как в программе (автономизм, федерализм), так и в тактике (соглашательство с русской „демократией“, то есть буржуазией).

Несмотря на весь свой мужицкий демократизм, а даже в силу именно мужицкого демократизма, Драгоманов не понял прогрессивности для буржуазной демократии лозунга революционной борьбы за единое независимое украинское государство, точно так же как не понял он и роль революционной борьбы польской шляхты за национальную независимость с точки зрения интересов не только всероссийской, но и всеевропейской демократии, что отметил Ленин, оценив Драгоманова как мещанина и представителя „крестьянина, настолько еще дикого, сонного, приросшего к своей куче навоза, что из-за законной ненависти к польскому пану он не мог понять значения борьбы этих панов для всероссийской демократии“ [2].

Соответственно тому, как ставила украинская буржуазия вопрос о национальном самоопределении, и вся ее история не была историей национально-революционной и аграрной борьбы, типа, например, ирландского, где

---

[1] М. Драгоманов, „Собр. политич. сочинений“, т. I, Женева, 1905, стр. 297.

[2] Ленин, Соч., т. XIX, Гиз, 1924, стр. 132.

радикальная буржуазия прославилась восстаниями, конспирациями, дала начало даже некоторым новым формам борьбы, каковы бойкот и обструкция. Украинская буржуазия, напротив, прославилась провансальством и провинциализмом, политическим соглашательством и „кротостью“, которые, впрочем, уживались с ее культурническим национализмом и шовинизмом. Вполне прав был поэтому Желябов, когда в письме к Драгоманову спрашивал: „Где наши фении, Парнель?“, а вместо их видел в лице киевской „громады“ людей, которые „соблазнились выгодой легального положения“.

Тот факт, что украинская буржуазия в течение десятилетий добивалась в разных формах национальной автономии путем соглашения с русской буржуазией, а проблему самостоятельного национального государства поставила лишь в порядке контрреволюции, с целью оттородиться от пролетарской революции и противостать ей, — увенчивает всю линию ее развития. Так же как и русская, она неспособна была осуществить буржуазно-демократическую революцию. Она развивалась так медленно и лениво и действовала так трусливо, что когда подошла к национальной революции, то эта революция оказалась с иным социальным содержанием, и во главе ее стал пролетариат, который в своей социалистической революции попутно разрешил и вопросы буржуазно-демократической революции, в том числе и проблему нации и ее самоопределения.

Таким образом, украинская буржуазия не только неспособна была разрешить, но и поставить проблему нации. Это тем более относится к ее зачаткам, которые в лице либеральных приятелей Тараса Григорьевича еще не совсем отпочковались от помещичьего класса, от тех земляков-панов, которым он писал свое „дружнее послание“. Идея нации у них совершенно отсутствовала. Ее у них заменяла идея провансальства с признанием двух отечеств: более широкого, общего (Россия) и более узкого, частного (Украина). Эту идею находим и у Костомарова и у Кулиша. Даже Драгоманов отдал ей дань

своей теорией трех литератур: российской, как общей, и великорусской и украинской, как местных.

Тарас Шевченко, представлявший революционно-плебейскую оппозицию нароождавшемуся украинскому буржуазному общественному движению, дает иную линию национального самоопределения, иную постановку вопроса о нации. В его произведениях нация находит свое выражение не только как нация в себе, но и для себя. В литературном наследии поэта мы находим вполне четкую буржуазно-демократическую постановку вопроса о нации, но высказанную с такой решительностью и последовательностью, поддержанную такой революционной программой, которые были совершенно не в характере украинской буржуазии, как современной поэту, так и позднейшей, но зато вполне в характере революционно-плебейской идеологии Шевченка, исследованной и показанной в предыдущих главах.

В самом деле, в поэтическом наследии Тараса Григорьевича можно найти все признаки осознания им своей народности как нации, со всеми ее проявлениями и вытекающими отсюда выводами, конечно, не теоретически разработанными, но довольно ярко разбросанными художественными мазками в целом ряде его произведений.

Возьмем вопросы об отечестве, о национально-освободительной борьбе и о национальном украинском государстве, являющиеся для нашего анализа определителями проблемы нации. Имеются ли они у Шевченка и как поставлены?

Из предыдущих разделов мы уже знаем, что в то время как представители украинского либерализма из кирилло-мефодиевских братчиков после их реакционного поворота припадали „к стопам“ императора и клялись в верности и любви к „общей нашей матери России“, Шевченко в это же время углубил социальное и революционное содержание своей борьбы против „палачей-царей“, „разбойников несытых“ — помещиков и „пьяных жрецов“ — попов. Отречению Костомарова, Кулиша и других от своих непоследовательных национально-освободительных стремлений, выставленных в программе братства и в

„Книгах бытия украинского народа“, Шевченко противопоставил революционное поднятие этих стремлений до уровня социальной революции. Характерно в этом отношении антагонистическое противостояние Кулиша и Шевченка.

Пантелеймон Кулиш представляет собою яркую личность среди нарождавшейся из недр либерального дворянства украинской буржуазии. Этот просветитель, европеец и гуманист, своей пуповиной связанный с феодальным панством, заслуживший почитание фашистских эпигонов украинской буржуазии за „мужественность“ и угнетательскую сущность своей философии, был и в национальном вопросе типичным представителем провансальства и бардом „триединой империи“. В своей „Хуторной поэзии“ сей мотроновский отшельник прославил наиболее ненавистных для Тараса Григорьевича царя Петра I и царицу Екатерину II.

Для Шевченка они — душители Украины, уничтожившие ее „вольности“. А Кулиш воспевает их в гимнах именно за уничтожение этих „вольностей“. Царю Петру он посвящает „Гімн единому цареві“: „Мы праведным царем тебя прозвали еще с тех пор, как наши людоеды заодно с Мазепою и шведом действовали, не чувствуя Полтавской победы“; царицу Екатерину он прославляет за то, что „уничтожила осиное гнездо, ненасытную разбоями и разрушениями запорожскую змею убила ты“; а Шевченка называет „уродом“ за то, что он сию царицу называл „голодной волчицей“.

Шевченко клеймит Богдана Хмельницкого как „неразумного сына“ Украины, „Богдана недомудра, ленивого сына“, и купает его, „преславного“, в грязи за то, что он не довел до конца национальное освобождение Украины, за то, что, предав чернь и революцию, поехал в Переяслав „присягать Москве“ и стал другом царя Алексея (хотя Шевченко и считал Хмельницкого „гениальным бунтовщиком“). Кулиш также клеймит этого гетмана, но уже с противоположной стороны. Он его ненавидит как вождя революции, за то, „что Русь и Польшу поставил вверх

ногами, во всех кабаках прославил ножи и пожары. Если бы ты вернулся к нам из ада, всякий хлам в Руси воспрянул бы снова. Всюду точили бы ножи против зажиточных граждан и прославляли бы тебя в безбожных песнях". Понятное дело, что для Кулиша и гайдамацкие восстания — лишь разбойничьи бунты черни, слуг, „которые прокрались у господ и, ускользнув из рук палача, гетманами назывались", и сражались они не за свободу с „панским правом", как это „по пьяну снилось" „последнему казацкому кобзарю", а с „хозяйским порядком" „зажиточных граждан" (по Кулишу). Во имя охраны этого помещичье-буржуазного „хозяйского порядка" призывал Кулиш вместе с „ляхом" и „москалем" построить „втроем одну великую империю, и, духом трех братьев освященный диктатор, пусть дает нам строй свободы император".

Перед нами законченная теория триединого „отечества" и буржуазно-помещичьего абсолютизма, обеспечивающего свободу эксплоатации „черни", чего неспособно было обеспечить старшине и ее эпигонам старое гетманско-казацкое государство; поэтому и украинская буржуазия свои национальные стремления отстаивала, не выходя за пределы этого „отечества" и не выставляя своего права на самоопределение против интересов русской буржуазии; так же как и Кулиш, она больше боялась революции, чем национального гнета.

Шевченко, напротив, восставал за революцию, против чужого „престола-отечества" и за свой „родной край", то есть за свое „отечество", за Украину. В противовес Кулишу, он резко противопоставлял друг другу эти два „отечества". На идеологию украинского панства, так четко сформулированную у Кулиша, Шевченко еще в стихотворении „Холодный яр" дал резкую отповедь, выставил свою противоцарскую и противопомещичью позицию и, издеваясь над официальным „отечеством", дал концепцию своей национальной „отчизны", о которой он тоскует в стихотворении „Тарасова ніч", печалясь, что „гине слава, батьківщина" („гибнет слава, отечество").

Не зовіте преподобним
Лютого Нерона!
Не славтеся царевою
Святою війною,
Бо ви й самі не знаєте,
Що царики коять.
А кричите, що несете
І душу і шкуру
„За отечество"! Єй-богу,
Овеча натура!
Дурний шию підставляє
І не знає, за що,
Та ще й Гонту зневажає
Ледаче ледащо!

Не называйте преподобным
лютого Нерона! Не кичитесь царевою святою войною, ибо вы сами не знаете, что делают царьки, а кричите, что несете и душу и шкуру „за отечество"! Ей-богу, баранья натура! Глупый шею подставляет и не знает, за что, да еще и Гонту унижает негодный бездельник!" („Холодний яр")

Шевченко восстает здесь против „отечества", угнетающего Украину и, издевается над своими соотечественниками, которые вкладывают шею в это ярмо „чужого отечества". Он „отечество" отождествляет с царизмом и в глумлении ставит его рядом с „новыми метлицами" („Сон"). Одновременно поэт клеймит завоевательную политику царской России и грабительство чужих народов; он бичует хищника, который „на край света заглядывает, нет ли страны, чтоб захватить ее" („Сон"). Патриотов он разоблачает как лицемерных хищников, например:

А той щедрий та розкішний,
Все храми мурує,
Та „отечество" так любить,
Так за ним бідкує,
Та так з його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..

А тот щедрый и роскошный
все строит храмы и „отечество"
так любит, так о нем печется, да
так с него, несчастного, кровь,
как воду, точит!..

Патриоты такого „отечества" для Шевченка — либо хищники, угнетатели, любящие его эксплоатировать, либо же „баранья натура", „няньки, дядьки отечества чужого", если это его земляки, подставляющие шею в царское ярмо, не зная, что делают царьки. Он глумится и над московским националистическим славянофильством, иронизирует над Хомяковым, как над „Руси ревнителем, Москвы, отечества любителем". Всегда „отечество"

у Шевченка выступает или в отрицательном освещении или же в ироническом. В противовес этому „чужому отечеству“ он резко противопоставляет свою „славу батьківщину“, свою отчизну, борясь против него за свободу своей страны, то есть Украины. Лучше всего такая национальная позиция Шевченка, позиция противопоставления друг другу двух отечеств, своего и чужого, выявляется в его ранних произведениях, когда он всецело находится еще под влиянием национальной исторической романтики. Он печалится, что нет среди его соотечественников героев, подобных прежним историческим, что „не зарежет отец сына, свое дитя, за честь, славу, за братство, за свободу страны. Не зарежет: выпестует и продаст на бойню москалю... Это, видишь ли, лепта вдовы престолу, отечеству“.

Противопоставляя „чужому отечеству“ (России) лозунг „свободы страны“, „слави батьківщини“, своей „Украины убогой“, Шевченко выступает уже как поборник нации, борец за ее освобождение из-под иноземного гнета, то есть формулирует программу национальной борьбы, которую он проповедует путем исторических примеров. А из этой его программы вырисовывается, как дальше будет видно, лозунг национального государства и его формы — республики.

Лучше всего национальная позиция разных классовых групп украинской нации отражается в их оценке восстания Мазепы. Это была попытка украинской буржуазии в лице казацкой старшины свернуть зависимость от российской империи Петра I и снять гнет русского торгового капитала над украинским торговым капиталом. Но эта попытка, направленная в одно и то же время против казацко-крестьянских масс и на союз с внешними силами (Швеция, Турция), была антиреволюционна и этим сама себя обрекла на неудачную авантюру. Однако дело не в том, какое действительно место в истории занимает восстание Мазепы, а в том, что оно в глазах деятелей украинского национального движения XIX столетия стало символом борьбы за независимое

украинское государство, и отношение к мазепинству со стороны различных социальных слоев украинского движения означало вместе с тем и отношение их к проблеме украинского национального государства.

Идеолог новой украинской буржуазии времен ее зарождения, П. Кулиш, как уже отмечено выше, стал полностью на сторону Петра I, проклял Мазепу как изменника во имя „хозяйского порядка“, за блага которого отказывался от своего национального государства, растворяя свое „отечество“ и свою национальность в „более широкой“ нации и в „общем отечестве“. Представитель более поздней украинской мелкой буржуазии, М. Драгоманов не стал ни на сторону Петра, ни на сторону Мазепы, называл свою партию „палиевцами“, то есть стал на сторону фастовского полковника Палия, представлявшего демократическую казацкую массу и отказавшегося поддержать Мазепу; объективно он помог Петру, хотя и не избежал того, что последний сгноил его в тюрьме и ссылке. Своим „палиевством“ демократическая мелкая буржуазия в лице Драгоманова демонстрировала свое равнодушие к борьбе за государственную независимость во имя анархического федерализма и туманного общинного социализма.

Тарас Шевченко, представитель закрепощенной сельской бедноты и батрачества, со всей силой своей ненависти выступил противником победы Петра над Мазепою, выступил против „собак Петровых“, которые „рвали, грызли“ Украину после полтавской победы („Іржавець“). У него и душа после смерти мучается, и в рай ее не пускают за то, что „московскому царю коня напоила в Батурине, когда он ехал в Москву из Полтавы“ („Великий льох“).

Таким образом, Шевченко выступает против Петра, хотя и не полностью за Мазепу. Его печалит поражение Украины под Полтавой, он ищет его причины, в оценке которых мы находим у Шевченка целую политическую программу национальной борьбы. Его вывод таков, что „Полтаву бы взяли, если бы единодушно восстали и к фастовскому полковнику гетмана склоняли“, тогда „не

останавливал бы их (отступающих) прилуцкий полковник поганый". Осуждая как изменника „поганого полковника" Ивана Носа, помогавшего царю Петру, Шевченко усматривает причину поражения Мазепы в том, что он не оперся на демократические казацкие массы. Причем не эти массы он хотел бы склонять к гетману, а считал, что нужно было гетмана склонять к демократическим массам. Переводя это на теоретический язык, Шевченко ставит здесь проблему единого национального фронта и революционной борьбы буржуазии за национальную независимость, опирающейся на широкие массы, иначе говоря — проблему национальной буржуазно-демократической революции. Интересно, что он „своим отцом" называет „полковника фастовского, славного Семена", — такое большое значение придавал он демократическим тенденциям казацкой массы. Вообще же в своих оценках исторического прошлого Шевченко давал эпитет „славный" гетманам, выявлявшим стремления к украинской государственности и боровшимся против Москвы, и эпитеты „глупый", „поганый" и другие — деятелям, игравшим на-руку Москве, например: „славный гетман" — „славный Дорошенко" и „гетман-попович" — „глупый Самойлович".

Так очерчивается в мировоззрении поэта проблема национального государства и революционной борьбы за него, выраженная в его исторической романтике. А необходимо отметить между прочим, что в формулировании идеологии нарождающегося буржуазного общества эпохи перехода от феодализма к капитализму историческая романтика вообще играет значительную роль. Это отмечал и Маркс, когда писал, что колыбель французской буржуазии „охраняли древнеримские призраки", а „одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета" [1]. Точно так же и Шев-

---

[1] К. Маркс, „Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта".

ченко, нападая на крепостнический строй с его царями, панами и попами, призывая на них народную месть и казнь, нападая даже на собственность во имя утопического коммунизма, предвосхищая фантазией освободительные стремления пролетариата и будучи предвестником его революции, объективно для своей эпохи был вестником буржуазно-демократической революции и во имя возвышения ее пользовался ветхозаветными образами и вызывал „к себе на помощь духов прошедшего“ [1] из эпохи казацкой Украины.

Но, черпая вдохновение в историческом прошлом Украины, Шевченко облекал свою идею нации и национального государства, как проблему будущего, и в новейшие формы. В одной из предыдущих глав уже отмечен случай в кружке мочемордов, в котором бывал и Шевченко, с провозглашением тоста за украинскую республику. Если даже взять под сомнение смысл этого тоста, то все же для Шевченка такие лозунги вполне в духе его поэзии.

Достаточно вспомнить его ненависть против „фельдфебеля-царя“ и его „капралов“, „сатрапов“, „пьяных унтеров“, которые „Украиной правили“, его возмущение против покорности своих соотечественников, „немых, подлых рабов, подножек царских, лакеев“, его революционное возмущение, которое заканчивается следующим лозунгом („Юродивий“):

О роде суетний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось таки колись! —

О род суетный, проклятый,
когда подохнешь ты? Когда дождемся мы Вашингтона с новым
и справедливым законом? А таки дождемся когда-нибудь! —

чтобы понять, что здесь идет речь не о чем ином, как о борьбе за освобождение своей нации из чужеземного ига, за создание украинского государства, и именно республики. В образе „Вашингтона с новым и справедливым законом“, то есть в образе национального и воен-

[1] Карл Маркс, „Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта“.

ного вождя американской буржуазии в ее войне за независимость от Англии и первого президента североамериканской республики,—в этом образе Шевченко выразил программу революционной войны за независимость Украины от царской России, за республику. Принципиальный враг царизма и монархизма для всех времен и народов, Шевченко не преминул заклеймить, как версальского злодея, Луи Бонапарта, уничтожившего французскую республику.

Стоя на почве национальности и отражая ее в своем творчестве, Шевченко видел и тот общественный слой, который является носителем принципа нации и национальности в эпоху восходящего капитализма. Он высказал это в своем дневнике, хотя и не в концепции украинской нации, а говоря о национальности вообще. Он заботится о воспитании при помощи сатиры (кстати, Шевченко был в восторге от Салтыкова-Щедрина) купечества, которое он называл грубым, полутатарским, однако именно в нем он на закате феодализма и крепостничества видел „юное среднее общество", над которым необходимо работать, между тем как над высшим обществом, аристократией, ставил крест, следующим образом поставив о нем вопрос в разрезе национальности:

„Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс—это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности" [1]. Шевченко характеризовал это „сердце национальности" в следующих словах: „Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть эту бестолковую тму, мну". Как средство обучения этого полутатарского купечества Шевченко рекомендовал сатиру, „ловкую, меткую, верную, а главное не

[1] Шевченко, Дневник, 26/VI 1857 г.

карикатурную, скорее драматический сарказм, нежели насмешку". Сам поэт, так метко подметивший ленивость и азиатский характер русской и украинской буржуазии, неспособной к классовой самостоятельности, хотел быть учителем и воспитателем этого полутатарского среднего сословия. Специально для него рисовал он свою картину „Притча о блудном сыне".

Но украинская буржуазия в своем движении за историческим процессом учителем взяла себе Кулиша, а не Шевченка. Из последнего же она сделала себе икону, водворив образ гениального бунтаря в киот националистического буржуазно-соглашательского культа, выгравив из творчества бедняцко-батрацкого поэта все его социальное и революционное содержание, в том числе и из концепции нации, выбросив из нее национально-революционную основу и заменив ее пресмыкательством перед империализмом.

Шевченкова национальная программа хотя в основе своей объективно и формулирует предвидение буржуазно-демократического развития, однако ставит вопросы этого развития не реформистски, а по-плебейски революционно. Эта программа национальной революции у самого же поэта перерастает ее ограниченные рамки, в поэтическом предвосхищении будущего бесклассового общества она переходит в программу социальной революции для всей планеты, революции, осуществленной через новую социальную силу, созданную развитием машинной техники и индустрии (пророчество о машине), вооруженную „новым словом" вполне пригодной к практической жизни идеи коммунизма.

Проблему нации Шевченко поставил революционно, как проблему буржуазно-демократической революции, на которую ленивая и кроткая украинская буржуазия неспособна была. Эта национально-революционная программа, вплетаясь во всю сумму взглядов поэта, являющуюся гениальным предвидением социальной революции, уничтожающей классовое деление общества и устанавливающей коммунизм в его утопическом выражении, перерастает

свое буржуазно-демократическое содержание и выпадает из рук национальной буржуазии как оружие слишком для нее обоюдоострое.

XII. ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШЕВЧЕНКА

Пролетарская революция, разбившая много фетишей, уничтожила и фетишизм националистической иконы Кобзаря, заменила культ Тараса научным марксистским шевченковедением, показывающим трудящимся массам их настоящего, живого поэта-революционера во всем его величии и со всеми предрассудками его класса и эпохи. Марксистская критика разоблачила культ „национального пророка", при помощи которого буржуазия пыталась влиять на массы. Однако классовая борьба вокруг личности Тараса Григорьевича и его исторического значения модифицируется в новых формах.

Откровенный национал-фашизм, обретающийся в эмиграции, не желая совершенно отказываться от приспособления культурно-исторического наследия Тараса Шевченка и его творчества к своим классовым интересам, принимает лишь его активность и национальное бунтарство и совершенно умалчивает о социальном и революционном содержании этой активности и бунтарства. Вместе с тем он все более и более ориентирует свою культурно-историческую линию развития от Шевченка к Кулишу, как к представителю аристократически-волевой идеи, с ее презрением и ненавистью к массе, к черни, к плебейству, с превознесением аристократов духа, сильных личностей буржуазии. Эту же фашистскую линию в направлении советского украинского культурного процесса пытался в свое время навязать коммунистической партии Украины так называемой „хвилевизм", который, однако, был разбит партийной критикой и осужден в конце концов самим его автором.

В более замаскированной форме продолжается борьба представителей буржуазной культуры, находящихся в пре-

делах УССР, за удержание в ее сокровищнице культурных ценностей Кобзаря. Эти последние выступают по преимуществу под академическим забралом и якобы в совершенно научных формах пытаются отделять Тараса Григорьевича и его культурное наследие от его социально-исторической плебейско-мужицкой среды крепостной эпохи. Под тем предлогом, что Шевченко „был вполне в курсе идеологических исканий современной ему русской и польской интеллигенции, прекрасно ориентировался в текущей журналистике и литературных новостях и на этой твердой базе он строил свое мировоззрение“ [1], пытаются создать идеалистическую путаницу и твердую базу общественного мировоззрения Шевченка искать не в самом обществе, а в „литературных новостях“, и этими новостями определять всю его общественно-историческую роль.

Совершенно правильно, что Шевченко не был неграмотным мужиком. Он был вполне в курсе идеологических исканий своей эпохи. Однако сами по себе эти искания ничего не объясняют, и сами нуждаются в объяснении с точки зрения тех общественных отношений, которые в этих исканиях отражаются.

С этой точки зрения анализ идейного содержания творчества Шевченка „на твердой базе“ социальных отношений крепостнического общества, места и времени жизни и деятельности поэта выявляет в нем мужицкую идеологию, однако не абстрактно-мужицкую, а бедняцко-батрацкую, с элементами идеологии предпролетариата, оплодотворенную влияниями французского материализма и утопического социализма, насыщенную революционным пафосом, хотя и не освобожденную вполне от религиозной формы,—именно такая идеологическая основа творчества Кобзаря, поданная в гениально-поэтической форме, делает Шевченка великим, эпохиальным. Великое значение его состоит в том, что он смотрел гораздо далее вперед, чем передовые люди его страны и его вре-

[1] Ол. Дорошкевич, „Шевченко в соціялістичному оточенні“.

мени, и смотрел глазами трудящегося угнетенного человечества, которому принадлежит будущий мир. Это нам объясняет, почему творчество Шевченка до сих пор играет большую практическую роль в деле общественно-культурного движения масс, и даже бóльшую роль играло после смерти, чем при жизни поэта.

В общественных отношениях, в обстановке которых приходилось действовать Тарасу Григорьевичу, отличительной чертой является почти полное отсутствие организованного общественного движения на идеологической основе Кобзаря, отсутствие революционной ситуации, которая бы показала в действии те социальные силы, от имени которых выступал поэт. Ему самому приходилось характеризовать состояние общественных сил старой царской империи следующим образом:

От молдаванина до финна —
На всех языках все молчит.

Абсолютизм чувствовал себя еще настолько прочно, что мог даже помочь австрийской монархической реакции подавить венгерскую революцию (в 1848 г.). Крестьянское недовольство выражалось отдельными бунтарскими вспышками, подавляемыми военной силой. Даже после Крымской войны, обнаружившей полную непригодность старого режима, в русском обществе не нашлось силы, способной привести в революционное движение против крепостнического абсолютизма силы его разрушения. Батрацко-бедняцкое крестьянство не было еще политической силой и не имело никакой политической организации. Для приведения его в массовое движение необходим был толчок и руководство из города. Но буржуазия не представляла революционной силы и стремилась лишь к реформам сверху. В результате и „освобождение“ крестьян произошло не революционным путем, снизу, а путем „высочайшего манифеста“, закабалявшего крестьянство на долгие годы в новых формах.

Предпролетарская идеология Тараса Григорьевича не имела под собой массового общественного движения для

ее развития и политического применения. Для того чтобы революционные стремления Тараса и его социальной среды имели более широкое влияние, необходима была в качестве исходного пункта активная буржуазно-оппозиционная общественность, в которой Шевченко стал бы, конечно, на крайнем левом фланге. Но вместо такой оппозиции ему приходилось иметь дело с образованной аристократией и либеральными помещиками. Это образованное дворянство в некоторой степени играло оппозиционную роль, но настолько слабую, что эта оппозиция не открывала путей не только для революции, но даже и для буржуазной реформации.

Необходимо отметить, что Шевченко проявил чрезвычайную наблюдательность, поняв и оценив отрицательное значение такой никчемности буржуазии. Его заметки по поводу ленивого полутатарского купечества, по поводу неспособности мирной промышленности развиваться иначе как „под эгидой власти", проведение им знака равенства между купечеством и рядовым офицерством, с той лишь разницей, что „офицер вольтерьянец, а купец старовер; а в сущности одно и то же" [1], — все это показывает смелость мысли и дальновидность поэта в его критике среднего сословия — буржуазии. Однако нарастание капитализма так или иначе должно было выдвинуть буржуазию на общественную арену. Шевченко, повидимому, понимал это, ибо считал необходимым воспитание этой буржуазии.

Между тем ни в крестьянстве, ни в буржуазии того времени поэт не имел достаточных организационных основ для развертывания своей деятельности. Сфера общественно-литературных влияний (французский материализм, утопический социализм, Герцен, петрашевцы, кирилло-мефодиевцы) и ореол декабристов еще не создают условий для развития такой деятельности. Революционное и оппозиционное движение как выражение политического пробуждения этих слоев явилось уже после Шевченка, в

---

[1] Дневник, 27/VI 1857 г.

частности народовольчество было уже продуктом послереформенных отношений.

Общественное мнение времен жизни и творчества Тараса Григорьевича создавалось дворянско-помещичьим сословием, но в нем поэт был социально и идеологически одиноким. Его связи с украинским либеральным панством, как показано выше, не были прочны и окончательно порвались после ссылки.

Шевченко мало ошибался, когда писал к одному из бывших приятелей, Лизогубу, в письме из Орска 1 февраля 1848 года: „Если на собаку бросишь палку, то попадешь в друга, а как пришла беда, то бог их знает, где они девались. Не вымерли ли, сохрани бог! Нет, здравствуют: но только отшатнулись от своего горемычного друга". Эти друзья носили на руках „украинского барда", пока он пел им про казачество, бунчуки, гетманщину. Когда же он за „возмутительные стихотворения" против царизма и панства очутился за Каспием, то и увлечение им остыло: не компрометировать же себя из-за какого-то бурлацкого поэта! Тем паче, что и начальство делало свои предупреждения насчет сношений с сосланным поэтом. Это, конечно, не оправдывает его бывших либеральных приятелей, как это делают некоторые его биографы, а лишь объясняет классовую основу их разрыва с ним.

В Тарасовой поэзии этих подневольных лет его общественное одиночество, заброшенность и отчужденность его земляков бьют в глаза. Его обращения за моральной поддержкой к этому украинофильскому панству оставались буквально гласом вопиющего в пустыне. Ему ничего более не остается, как проклинать людей и бога, выливая свои настроения в таких стихотворениях, как: „Опять ничего не привезла мне почта из Украйны".

Само собою понятно, что украинофильское панство не могло дать необходимую для развития поэта оценку и критику его творчества. Оно лишь щелкало языком да разводило руками, когда Тарас „урежет" что-нибудь про гетманов и казацкую славу, но не могло сочувствовать

его мужицкому революционизму. Только позднее, уже в 60-х годах, после смерти поэта, литературная критика подошла к более или менее достойной его оценке. Это была русская критика в лице Аполлона Григорьева, отражавшая уже рост народничества, поэтому и Шевченко ее привлекал тем, что у него „сияет та голая красота народной поэзии, которой у Пушкина и Мицкевича только искорки блестят". В конце же 40-х годов, в эпоху упрочения реакции, Тарасу Григорьевичу не от кого было ожидать совета. Ему только и оставалось, что

Хіба самому написать
Таки посланіє до себе,
Та все до-чиста росказать,—
Усе, що треба, що й не треба.
А то не діждешся його,
Того писанія святого,
Святої правди ні од кого.
Та й ждать не маю од кого.
Бо вже б, здавалося, пора:
Либонь уже десяте літо,
Як людям дав я „Кобзаря",
А їм неначе рот зашито:
Ніхто й не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене.
Не похвали собі, громадо,—
Без неї, може, обійдусь,—
А ради жду собі, поради...

Разве самому к себе написать послание и все начисто рассказать, — что нужно и не нужно. А то не дождешься того писания святого, святой правды ни от кого. Да и не от кого ждать. Уже, казалось бы, пора: кажись, уже десятый год, как людям дал я „Кобзарь", а у них будто рот зашит: никто и не залает, не ругнет, как будто меня и не было. Не похвалы себе я жду, — без нее, может быть, и обойдусь,— а совета.

Поэту необходима была внимательная, серьезная критика, которая бы показала ему его самого и его пути; он так хотел, чтобы кто-нибудь ему сказал „хоть слово мудрое, дабы я знал, для кого и для чего пишу я". Но это ему могла сказать лишь революционная критика, которая поэта не застала в живых. После амнистии, когда в верхах „образованного общества" снова повеяло либерализмом, Шевченко сделался даже модным в петербургских салонах, что ему не весьма нравилось. Он довольно презрительно относился к общественному мнению этого общества: „А на общество хоть наплюй — оно капуста головатая".

Поэт проклинает людей из этого общества и за то,

что льстили ему в свое время, и за то, что бросили его на произвол судьбы. Муки одиночества терпел среди такого общества наш Кобзарь. Но такое ничтожество „образованного общества“ времен поэта еще более подчеркивает силу его плебейского духа, поставившего его на целую голову выше этого общества. В наиболее тяжелое время ссылки он находит выход из положения: „Что же делать? На то беда, чтобы с нею драться“.

И действительно, каторга николаевской казармы не сломила его. Сам поэт констатировал это в своем „Журнале“, об этом свидетельствует его поэзия, ставшая более острой и четкой социально, как поэзия угнетенных крестьянско-батрацких слоев. Но эти родные ему социальные элементы не могли дать совета своему Кобзарю, ибо на почве крепостного права не могли создать свою организованную общественность и вряд ли и знали „Кобзарь“, а если кое-что и слышали о своем поэте и даже легенды о нем составляли, то этим они только и могли ограничиться.

Революционная плебейско-пролетарская общественность могла развиться только в буржуазном обществе, в котором беднейшие слои крестьянства и батрачества превращаются на основе развития капиталистического производства и техники в пролетариат. Лишь при капитализме растет этот освободитель общества от всякого гнета и эксплоатации. Своей классовой борьбой он несет освобождение и мелкому крестьянству. В его лице приходит и тот „апостол правды и науки“, которого с таким нетерпением ожидал поэт. Лишь капиталистическая фабрика с ее машиной превращает Тарасовых предпролетариев в силу, способную „миром, обществом обух сталить, хорошо наточить топор, да и начать тогда будить захиревшую свободу“ и осуществить гениальное пророчество о машине. Но Шевченко сам был продуктом крепостного строя и жил в нем на заре капитализма, когда еще такой общественности не было.

Одинокий в классово чуждом и враждебном ему обществе, Шевченко и в своих произведения и в личной

жизни всеми силами стремится вырваться из него и возвратиться в свою социальную среду: „Пойдем в селения: там люди! А там, где люди,—будет хорошо“.

Для такого возврата к своим людям в условиях, окружавших поэта, было единственное средство—вернуться к мужицкому бытию. Отсюда и вытекает страстное желание Тараса Григорьевича хотя бы конец своей жизни провести в своей хате возле Днепра среди *своего* „общества в сермягах“, среди *своей* природы. Но даже и этому не суждено было осуществиться... Только после смерти (25 февраля ст. ст. 1861 г.) его останки похоронены были на горе у Днепра вблизи Канева.

Окружавшее поэта „образованное общество“, „капуста головатая“, по его меткому определению, много постаралось и при его жизни и после смерти, чтобы его творчество осталось „спрятанным в землю золотом“, по выражению Драгоманова. Характерно, что не среди своих земляков, бывших братчиков, украинофилов, поэт имел своего ближайшего друга. Таким искреннейшим, его закадычным другом был „москаль“, знаменитый артист Щепкин—так же как и Шевченко из крепостных крестьян, что их особенно сближало. Этот мужик-артист, не долго думая, приехал в Нижний-Новгород, где по „независящим (полицейским) обстоятельствам“, возвращаясь из ссылки, застрял его друг, чтобы увидеться с мужиком-поэтом, в то время как пан-земляк Кулиш под разными отговорками уклонялся навестить того, на кого когда-то смотрел как на „светильник небесный“, а теперь только и удосужился на нотации поэту по поводу его „Неофитов“, посвященных Щепкину, и, вместо того чтобы передать это произведение артисту, спрятал у себя, чтобы оно, дескать, не повредило поэту своей нецензурностью.

Интересным штрихом может служить и встреча поэта из крепостных рабов с артистом-негром из черных рабов, Ойль-Риджем, о которой у поэта остались самые восторженные впечатления и им самим нарисованный портрет артиста. Раб с рабом в одну минуту становились друзьями.

Итак, буржуазное общество спрятало в землю золото

революционной поэзии Кобзаря, благодаря чему оно до пролетарской революции мало кому было и известно. Если же извлечь это золотое зерно из земли,—зерно классовой ненависти к угнетателям, к царям, панам и попам, дух протеста и борьбы против них, то станет ясным, что золото не потеряло своего блеска и для последующих времен. Собственно говоря, только с возникновением пролетарской общественности и проясняется из-за кадильного дыма молебнов и панихид перед иконой Кобзаря настоящее его лицо, вырванное из буржуазно-националистического и клерикально-поповского киота. Пролетарская революция извлекла это золото из цензурных архивов и показала миллионным рабоче-крестьянским массам подлинного Кобзаря, с правдивым его освещением.

Сам поэт в тяжелейшие времена все же надеялся, что его работа дождется того времени, когда сможет принести пользу трудящимся умам. Он писал: „Пашу свою бедную ниву и сею слово: хорошая жатва когда-то будет". Даже в минуты сомнения он не сходит со своего пути. На вопрос: „Не обманываю ли я себя опять своим странным („химерным") добрым словом?" он отвечает: „Обманываю! Ибо лучше обмануть самого себя, чем по правде жить с врагом". Вот это все—и классовая мораль борьбы, и мужицкое упорство, и вера в освобождение угнетенного и эксплоатируемого человечества—не дало поэту погибнуть в дни лихолетья и потонуть в окружении „образованного" либерально-помещичьего общества.

При разборе социально-исторической сущности творчества поэта бросается в глаза чрезвычайный исторический диапазон ее, охватывающий ряд веков, целые эпохи в развитии человеческого общества вообще и Украины в частности. От обращения своего взгляда назад, на идеализированное и обвеянное романтизмом историческое прошлое, через резкую критику настоящего к пророческому заглядыванию в будущее,—в таком направлении развивается Шевченко как поэт, вплетая в свое творчество идеологии разных эпох и поэзию социальной революции расписывая древними религиозными узорами.

С общественно-исторической точки зрения в развитии поэтического творчества и сознания Тараса Григорьевича схематически можно наметить следующие этапы: 1) идеализация казацко-гетманской Украины, национальная романтика и идейная связь с украинским либеральным дворянством и буржуазией; 2) развенчание гетманов и казацкой старшины и критика своих земляков-помещиков; 3) восстание против крепостнического строя и ненависть к царям, помещикам и попам; 4) стремление к будущему царству равенства и свободы без деления общества на враждебные лагери, с не совсем ясным предвидением бесклассового общества и коммунизма. Во всей этой эволюции поэта от национальной романтики к социальной революции неизменной оставалась классовая основа его творчества, которая определила и направление его развития. Эта основа — закрепощенное и задушенное крестьянство, его беднейшие слои, батрачество — будущий наемный пролетариат.

В самой эволюции социального содержания поэзии Тараса Григорьевича как бы отражается вся история крестьянской идеологии, раздваивающейся между далеким, дофеодальным прошлым свободной колонизации земель („займанщина"), с крестьянским привольем или по крайней мере с лучшей жизнью, чем в эпоху крепостного права и барщины, и между будущим пролетарским миром, к которому крестьянство примыкает своими нижними слоями — бедняками и батраками — и в нем опять-таки ищет лучшую жизнь.

Экономически и национально угнетенная страна, где сильнее всего чувствовало гнет крестьянство, была почвой, на которой классовая мужицкая идеология Шевченка развивалась и отражала ее (почву) во всех своих проявлениях. Задушенная Украина, а в ней задушенное крестьянство и батрачество собственно и определяют личность и творчество их Кобзаря.

Есть у Шевченка одно стихотворение, написанное в 1860 году, в котором он как бы подытоживает свое развитие. Это стихотворение следующее:

Бували війни й військовії свари:
Галагани і Кисілі, і Кочубеї-Ногаї,
Було добра того чимало!
Минуло все, та не пропало —
Остались шашелі: гризуть,
Жеруть і тлять старого діда.
А од коріння тихо, любо
Зелені паростї ростуть.
І виростуть; і без сокири
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде,
Розтрощить трон, порве порфиру,
Роздавить вашого кумира,
Людськії шашелі! Няньки,
Дядьки отечества чужого!
Не стане ідола святого,
І вас не стане! Будяки
Та кропива, а більш нічого
Не виросте над вашим трупом!
І стане купою на купі
Смердячий гній — і все те, все
Потроху вітер рознесе;
А ми помолимося богу
І небагатії й невбогі.

Бывали войны и военные брани: Галаганы и Кисели, и Кочубеи-Ногаи, было этого добра не мало! Все прошло, но не пропало — остались черви: грызут и жадно разъедают старика. А от корней тихо, мило растут зеленые ростки, И вырастут; и без топора лишь заревет и загудит, казак безверхий упадет, разрушит трон, порвет порфиру, раздавит вашего кумира, человеческие черви! Няньки, дядьки отечества чужого! Не станет идола святого, и вас не станет! Чертополохи и крапива, а больше ничего не вырастет над вашими трупами! И станет кучей на куче смердящий гной, — и все это понемногу ветер разнесет; а мы помолимся богу, и не богатые и не бедные.

Здесь сведена вместе вся общественно-историческая идеология Тараса Григорьевича. Начинается она с исторического прошлого казацко-старшинской Украины (Галаганы, Кисели, Кочубеи-Ногаи). С этим „добром“ поэт посчитался, покончил, а кроме того эту старую прошлую Украину догрызают „людские черви“ — современные поэту земляки, помещики, чиновники, — „дядьки отечества чужого“, царской России. Но их ждет та же самая судьба, ибо от корней, от народных масс растут новые силы-ростки. Эти силы уничтожат украинское панство, а его смердящий гной ветер разнесет. Тогда настанет желанный рай на земле, без богатых и бедных. Не обходится здесь и без бога, хотя его помазанника, „идола святого“, и не станет.

Такой Шевченко для нынешней эпохи пролетарского социализма и коммунизма есть, конечно, пережиток. Социалистом в теперешнем понимании этого слова Шевченко

не был и не мог быть в условиях крепостнических отношений, когда буржуазное общество как исходный пункт для развития пролетарского социализма (коммунизма Маркса—Энгельса) еще только рождалось.

Но это нисколько не уменьшает громадного общественно-исторического значения Шевченка для пролетариата. Это его значение заключается в том, что он был поэтом-борцом за освобождение социального слоя, отца современного рабочего класса, того слоя, который свое освобождение получает только в борьбе этого класса против капитализма и в разрушении последнего.

Певец трудящихся масс, выразитель сознания зачатков пролетариата в крепостном обществе, Шевченко принадлежит к тому общественному лагерю, который через разные этапы человеческой истории идет к освобождению человечества от всяких оков, от классового деления и гнета, от эксплоатации человека человеком. Пролетариат—последний в истории человеческого общества эксплоатируемый и угнетенный класс—чтит всех тех своих предшественников, которые на разных ступенях истории были в рядах эксплоатируемых и боролись с эксплоататорами.

Рожденный нищетой в батрацко-крепостной семье, поэт-Кобзарь всю социальную душу своего класса вложил в свою поэзию. Его лютая ненависть к угнетателям трудящихся масс, к богатеям, панам, попам и царям, вдохновенная проповедь жесточайшей борьбы против них, жажда будущего рая на земле, без холопа и без пана, когда будут просто люди-братья, глубокая вера в это будущее обновление человечества и превращение его в единую трудовую семью, вольную, новую, динамичность и простота его поэзии, его пламенное слово—все это суть зародышевые элементы классового сознания и новой культуры трудового пролетариата, подводящего под них прочные основания научного мировоззрения и силу классовой организации.

Все великое общественно-историческое значение поэта-невольника Тараса Шевченка состоит в том, что он шел

по пути, намеченному историей борьбы угнетенного человечество за свое освобождение такими вехами, как Спартак, Мюнцер, Бабеф, Маркс, Ленин. А этот путь, путь святой, кровавый и правый, ведет к обновленному коммунистическому обществу.

Пролетарское общество, в могучей стройке закладывающее фундамент будущего коммунистического человечества, чтит поэта трудящегося народа, певца тяжелой доли крепостного крестьянства и батрачества, борца за его социальное и национальное освобождение, и в пантеоне своих великих людей, борцов за освобождение труда от всякого гнета и эксплоатации, строительством на обновленной, неразмежеванной земле вольного социалистического общества и новой пролетарской культуры увековечивает и память великого Кобзаря.

Май 1930 года. Харьков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие к русскому изданию 3
I. Украина перед эпохой Шевченка 9
II. Социальное происхождение Тараса 23
III. Национально-казацкая романтика прошлого 34
IV. Среди украинского панства 47
V. Славянофильство и кирилло-мефодиевские братчики 55
VI. Мужицкая философия 69
VII. Крепостничество и Шевченко 85
VIII. Бунт против официального общества 96
IX. Углубление социальной поэзии 113
X. Элементы идеологии предпролетариата 120
XI. Проблема нации у Шевченка 143
XII. Общественно-историческое значение Шевченка 161

[illegible]

1 р. 35 к.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА (ПРАВЛЕНИЯ)
Москва, Центр, ул. 25 Октября, 10.
СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Книгоцентр, Москва, Богоявленский пер., 4.